

Михаил Волконский

Кольцо императрицы



Михаил Волконский
Кольцо императрицы

«Public Domain»

1896

Волконский М. Н.

Кольцо императрицы / М. Н. Волконский — «Public Domain»,
1896

«После кончины императрицы Анны Иоанновны русский престол перешел к младенцу Иоанну Антоновичу, а регентом стал герцог Курляндский Бирон. Однако на этом посту он оставался меньше месяца – 8 ноября 1740 года Бирон был арестован по повелению Анны Леопольдовны, матери младенца императора Иоанна Антоновича, и она объявила себя регентшей на место арестованного...»

© Волконский М. Н., 1896

© Public Domain, 1896

Содержание

Часть первая	5
Вместо предисловия	5
Глава первая. Сильный человек	9
Глава вторая. Семейство Соголевых	21
Глава третья. Смерть старика нищего	32
Глава четвертая. Первые шаги	40
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Михаил Николаевич Волконский

Кольцо императрицы

Часть первая

Вместо предисловия

После кончины императрицы Анны Иоанновны русский престол перешел к младенцу Иоанну Антоновичу, а регентом стал герцог Курляндский Бирон. Однако на этом посту он оставался меньше месяца – 8 ноября 1740 года Бирон был арестован по повелению Анны Леопольдовны, матери младенца императора Иоанна Антоновича, и она объявила себя регентшей на место арестованного.

Общие ожидания сошлись на том, что этот арест недавнего временщика и полного вершителя судеб России повлечет за собою неминуемое падение его приближенных, друзей и вообще лиц, пользовавшихся его покровительством. Однако таких людей нашлось немного. Вместе с Бироном были арестованы только кабинет-министр Бестужев, брат герцога Густав да немец Бисмарк, ее имевший почти никакого значения, кроме своей близкой связи с бывшим регентом.

Оставался еще старик Остерман, занимавший видное положение государственного канцлера и, как было известно всем, игравший в руку Бирона, благодаря которому он, собственно, и держался. Правда, он обладал большими дипломатическими способностями и опытом долговременной служебной практики, однако ни это видное положение, ни высокое звание не могли спасти старика, если не мог спастись сам Бирон, положение которого было еще виднее, а могущество и сила – еще значительней.

В ночь ареста регента, с восьмого на девятое ноября, «знатные обоюга персоны» собрались во дворец для присяги новой регентше, и тихо перешептывались, оглядывая друг друга и стараясь найти тех, кого не досчитывались. Не досчитались Бестужева, Густава Бирона; о Бисмарке забыли и искали глазами Остермана. Его не было. Кто говорил, что он уже арестован, кто выдавал за верное, что старик хитрит и прикинулся больным, что он делал всегда при важных переменах во дворце. Наконец его пронесли в кресле по дворцу к правительнице.

Остерман, сидя у себя дома уже совсем одетый и готовый для выезда во дворец после получения первого же известия об аресте Бирона, ждал подтверждения справедливости этой вести и, получив его от своего шурина Стрешнева, велел везти себя во дворец.

Здесь увидели, что он не арестован, но это не могло еще закрыть рты и прекратить толки и догадки. Решили, что, разумеется, нельзя было арестовать так вдруг канцлера, в руках которого были все нити дипломатической переписки с иностранными дворами. Нужно было сначала принять от него дела, сложные и запутанные, во многих отношениях известные только ему.

Остерман ночью уехал из дворца очень скоро, и после его отъезда в толпе, наполнявшей дворцовые покои, разнесся слух, что он был принят правительницей очень сухо и что ему приказано на другой день явиться со всеми бумагами для личного объяснения с Анной Леопольдовной. Не было сомнения, что завтра, когда Остерман сдаст свои бумаги и дела правительнице, он будет арестован.

В назначенный час Остерман приехал во дворец, или, вернее, его привезли туда, опять больного, в кресле, опять закутанного в одеяло, с вечным его зеленым зонтиком на глазах. Его пронесли прямо во внутренние покои правительницы и поместили у стола, достаточно боль-

шого, чтобы разложить на нем все бумаги, которые заключала в себе привезенная Остерманом толстая кожаная сумка.

Слуги вышли. Остерман остался в комнате один. Он не изменил своего положения, ни одно движение не выдало его. Он, и один оставаясь в покоях Анны Леопольдовны, продолжал казаться больным, с трудом двигающимся стариком. Медленно достал он на груди золотой ключик, медленно вложил его в замок сумки, отпер ее и стал доставать одну за другою бумаги и выкладывать их на стол.

За дверью послышался шорох. Остерман и не сомневался, что там уже давно стоят и, вероятно, наблюдают за ним в щелку. Ручка у двери наконец двинулась, и в комнату несколько более, чем нужно, широкими шагами, как бы подбадривая себя, вошла Анна Леопольдовна.

Вчера ночью, после только что совершенного ею переворота, сторяча, она еще могла заставить себя затянуться в твердый корсет, надеть узкие туфли на высоких каблуках и неловкое, нелюбимое ею, стеснительное платье на фижмах, но сегодня Остерман увидел ее опять прежнюю Анною Леопольдовною, такую, какою видел ее обыкновенно в будние дни, а не на балах и праздниках, которых она не любила и посещала очень редко. На ней был широкий шелковый, очень удобный капот с большою складкою сзади и шлейфом. Голова была повязана платком.

Правительница вошла, видимо, желая казаться строгой, быть может, величественной, и во всяком случае недовольной и сердитой, со сжатыми губами и насупленными бровями. Но по тому, как она вошла, села, не взглянув, к столу и положила на него руку, как садятся женщины, входя в детскую, где ждет их няня с докладом о ребенке, и сразу потребовала от Остермана, не поздоровавшись с ним, сдачи «*всех*» дел, он убедился еще раз, что она ни строгой, ни сердитой, ни величественной, ни даже деловитой быть не может. Тонкие губы Остермана двинулись улыбкой, но так, что Анна Леопольдовна не могла заметить это, и он начал свой доклад.

– Из Парижа наш посол пишет... – заговорил он.

– Князь Кантемир? – переспросила Анна Леопольдовна, делая снова усилие нахмурить брови.

Снова по губам старика скользнула незаметная для нее улыбка, как бы говорившая, что это еще не велика штука знать, кто наш посол в Париже, и дело вовсе не в том, а затем он начал докладывать правительнице содержание письма Кантемира.

– Положение европейских дел было сложное, запутанное: Франция интриговала против нас в Швеции и в Турции, боясь нашего усиления и помощи с нашей стороны своим врагам; Пруссия начинала приобретать силу и значение; России нужно было считаться с Польшею и там поддерживать свое влияние. Нужно было не только знать, понимать и чувствовать все эти отношения, но жить ими, чтобы сразу охватить смысл парижского письма, служившего продолжением переписки, которую вели между собой люди, хорошо знающие все дело, и по тем нескольким вопросам, которые сделала Анна Леопольдовна во время доклада, Остерман увидел, что ей дело известно даже менее, чем мог он предполагать.

Он сделал несколько разъяснений, но они, видимо, не интересовали правительницу. Она делала свои вопросы лишь для того, чтобы показать, как она думала, что отлично понимает все, и этим лишь выдавала себя.

Остерман заговорил об Австрии. Но, чем дальше говорил он, тем тоскливее и тоскливее становилось лицо Анны Леопольдовны и тем оживленнее, напротив, делался Остерман. Он не ошибся в своем расчете.

Сначала правительница еще старалась сдвигать брови и делать серьезное лицо, но потом это надоело ей, и она стала понемногу рассеянно поглядывать по сторонам, дольше и пристальнее смотреть на свои ногти и раза два уже подавила зевок, стараясь отвернуться, чтобы сделать его незаметным.

Остерман видел, что он теперь – полный хозяин положения, и тогда упомянул о главном, на что он рассчитывал, а именно заговорил о саксонском дворе.

Анна Леопольдовна так и встрепелась вся.

Там, при этом саксонском дворе, жил человек, которого она узнала здесь, в России, пять лет тому назад и который пять лет тому назад, по требованию императрицы Анны, был почти изгнан из Петербурга.

Красавец граф Линар, которого саксонский король отправил своим посланником в Петербург к Анне Иоанновне, сильно приглянулся принцессе, и у них пошли записочки, встречи, разговоры. Но вдруг все это стало известным строгой государыне, рухнуло, прекратилось, граф Линар был оторван от России, а Анне Леопольдовне пришлось пережить крутое, неприятное время.

Пять лет прошло с тех пор, но это время, как сейчас, было живо в ее памяти. Она помнит выговоры и неприятности, которым подвергалась тогда, но не изгладился из ее памяти образ того, который был причиной этих неприятностей.

Сколько раз она в продолжение этих пяти долгих лет думала о графе Линаре, сколько раз грезился он ей во сне и сколько казавшихся несбыточными мечтаний рождалось у нее. Она не верила, не могла верить, что никогда не увидит его. Это она не хотела допустить. Ей все казалось, что настанет день, когда «он» явится снова, когда будет возможность снова явиться ему. И вот теперь, когда она объявлена регентшей-правительницей огромной и могущественной империи, где никто не посмеет ни спрашивать отчета у нее, ни запретить ей творить свою волю, теперь эта возможность, кажется, настала. Мечты близки к осуществлению, но как?

Ни сам граф Линар не может приехать, ни король послать его в Петербург не в силах без того, чтобы об этом было заявлено в России, а заявить ей, правительнице, о своем желании видеть в Петербурге Линара сейчас, почти на другой день вступления во власть, немислимо. Что скажут и как посмотрят на это окружающие! В глаза, разумеется, ничего не скажут, не посмеют, но за спиной пойдут разные толки, а потому вызывать Линара теперь неловко.

Приходится ждать, а ждать не хочется. Со вчерашнего дня она только и думает об этом.

Да разве не довольно ждала она? Целых пять лет. Нет, нужно во что бы то ни стало как-нибудь вызвать Линара в Петербург. Этот несносный старик Остерман надоедает ей с затруднениями Австрии и возвышением Пруссии, а между тем, если бы он захотел, то сумел бы сделать именно то, что хочется ей.

И вдруг он сам, этот «несносный» старик, затевает разговор о саксонском дворе и начинает говорить так дельно, интересно. Действительно, для пользы России необходимо возобновить, поддержать и укрепить сношения с Саксонией; этого требуют интересы и конъюнктуры политические и торговые. Богатая страна – Саксония; необходимы сношения, необходимы.

Анна Леопольдовна с интересом слушает старика, и ее глаза блестят и разгораются. Румянец пробивается на щеках. Слышит она и не верит своим ушам.

Старик, оказывается, вовсе не несносен. Да он, в сущности, премилый и очень добрый, и дельный, и очень умный. Разве можно лишиться такого верного, опытного и преданного человека, который к тому же так отлично знает и понимает все эти скучные отношения Франции, Австрии и разных Турций и Пруссий, которые совсем-совсем неинтересны и ужасно похожи на урок географии или французской грамматики! Пусть этот умный, действительно умный Остерман и разбирается в них.

Оказывается, что все уже устроено: Остерман подумал еще раньше о пользе, какая произтечет для России от возобновления «тесных сношений» с саксонским двором. Еще при Бироне была послана им в Саксонию депеша о присылке в Петербург посла, с намеком о назначении сюда «прежнего», то есть графа Линара. Оставалось только теперь подтвердить, даже и не подтвердить, а просто не отменять сделанного уже раньше и помимо Анны Леопольдовны распоряжения.

И она не отменила.

По окончании аудиенции у правительницы пронесли снова в кресле больного Остермана по дворцу и отвезли домой. Ждавшие его отставки, падения, ареста ошиблись. Хитрый старик умел пользоваться приятельством опального регента и пережил без ущерба для себя его падение, выйдя и на этот раз победителем. Какою ценой, какою хитростью купил он эту победу – осталось тайной для окружающих.

Не догадались, в чем было дело, и тогда, когда приехал к русскому двору красавец-посланник саксонского короля граф Линар. Но, когда он приехал, то почували и поняли лишь одно – что появился новый «сильный человек», роль которого, вероятно, будет столько же видная, как и роль сверженного недавно герцога Бирона.

Глава первая. Сильный человек

I

Между тем в то самое время, когда в Петербурге произошли события, оставившие след в истории, в недалекой от Москвы провинции, почти одновременно со смертью императрицы Анны, умер в своем имении человек, ничем, кроме разве широкой, барской жизни, не замечательный – князь Кирилл Андреевич Косой.

В молодости он был послан Петром Великим в числе многих молодых людей для обучения разным наукам за границу, и попал в Париж.

Там князь Кирилл Косой застрял и вместо обучения «разным наукам» быстро усвоил себе приемы и обычаи разгульных молодых французов, очень скоро заговорил по-французски сам и научился владеть шпагой; к швырянью же денег и к азартной игре он имел, по-видимому, природные способности и в этом отношении стал почти с первого же раза удивлять своих товарищей-иностранцев.

Отец, воображавший, что его сын делает себе карьеру, денег присылал из деревни вдоволь. Но по прошествии нескольких лет старик скончался. Известие о его кончине пришло в Париж к сыну оказией только через шесть месяцев. Князь Кирилл заблагорассудил на родину не возвращаться, тем более что отец уже был похоронен, а управляющий, из мелкопоместных, писал, что он все формальности обделает, и если угодно будет молодому князю, то доходы будет ему высылать в Париж и «пещись о его благосостоянии».

Князю Кириллу это понравилось. Управляющего он не знал, но по тону письма решил, что тот – хороший человек и действительно будет «пещись».

В первые годы управляющий высылал денег очень много. Князь Кирилл даже не ожидал, что может получать столько, и был очень доволен и собою, и управляющим, и своею жизнью в Париже.

Он продолжал играть в карты, ухаживать за актрисами, дрался несколько раз на дуэли, ранил своих противников и сам был ранен, танцевал на балах, любил маскарадную интригу, участвовал в праздниках и кутежах и кончил тем, что совершенно неожиданно женился на одной очень хорошенькой, но второстепенной актрисе маленького театра.

Причиной этого было то, что князя застало у актрисы в неурочный час лицо, на счет которого жила эта актриса, и потребовало у него на месте объяснений. Желая выйти из неловкого положения, князь тут же объявил актрису своей невестой. «Лицу» оставалось только извиниться и уехать. Князь Кирилл после этого сдержал свое слово и действительно женился.

Маленькая Жанна, как звали актрису, оказалась очень милым существом; она всем сердцем привязалась к своему мужу, чувствуя и благодарность к нему, и любовь, потому что князь обладал всеми качествами, или, может быть, вернее, – недостатками, которые нравятся женщинам в мужчинах.

Жанна оказалась верной и милой женой, кроткой, тихой и ласковой и своею кротостью и лаской сумела добиться того, что князь Кирилл прекратил бесцельное мотовство, бросил других женщин и чувствовал себя очень хорошо в семейном кругу.

Доходов, под разными предлогами, управляющий стал высылать к этому времени меньше, но это уменьшение не было слишком ощутительно, потому что и расходы князя после его женитьбы сильно сократились.

Два года его женатой жизни были самым светлым, самым лучшим его воспоминанием.

Через два года у княжеской четы родился сын. Дав жизнь своему ребенку, бедная Жанна скончалась. Князь Кирилл был в отчаянии, плакал на похоронах жены, служил по ней пани-

хиды и делал пожертвования в ее память. Мальчика, которого назвали в честь матери Иваном, он сначала и видеть не хотел, но потом вдруг пристрастился к нему и перенес на него все то горячее чувство, которое проявлял сначала в выражении своего горя.

Мало-помалу в заботах о сыне князь Косой снова вернулся к жизни. Но едва только коснулась она его, как он опять, забыв все недавнее, ударился в прежнее. Откуда ни взялись приятели новые, явились старые, и пошло опять по-прежнему.

К управляющему полетели грозные письма о присылке денег, денег и денег во что бы то ни стало. Управляющий пытался делать свои «представления», но князь Кирилл ничего слушать не хотел. Для добывания денег управляющий требовал с него подписи разных бумаг, которые присылал к нему; князь Кирилл подписывал, на все соглашался, лишь бы были присланы деньги. И деньги присылались.

Так прошло до 1728 года. Маленькому князю Ивану было уже девять лет.

К этому времени письма управляющего стали по своему тону все самостоятельнее и самостоятельнее, нотка какой-то дерзости как будто чувствовалась в них, и приходили они крайне неаккуратно. На три, на четыре своих письма князь получал одно. Денег тоже стало приходиться так мало, словно их высылали уже не как должное, а как будто милость делали.

Наконец это взбесило Косого. Он решил ехать сам в деревню и принялся за исполнение своего решения с тою же горячностью, с какою все делал в своей жизни.

Сборы были недолгие. Князь Кирилл с сыном ехал, почти нигде не останавливаясь, и, как снег на голову, явился в Москву, где находился в то время императорский двор, и вызвал туда управляющего.

Управляющий не ожидал этого; он прискакал в Москву, привез все бумаги и письма князя Кирилла, по которым документально выходило, что Косой совсем разорен и большая часть его имения перешла в другие руки или должна перейти.

Дела были так запутаны, и нити их завязались в такой гордиев узел, что, казалось, разобраться в них не было никакой возможности. Ясно было одно, что князь Кирилл рисковал остаться нищим.

Однако Косой по-своему рассек этот гордиев узел. Он объявил управляющему, что если только тот осмелится пустить в ход свои махинации, то он его сотрет в порошок и упечет со всеми документами туда, где документы потеряют всякую силу.

Уверенный тон князя, его осанка, знакомства, которые с первого же дня завязались у него в обществе Москвы и придворном, видевшем в нем блестяще воспитанного человека, вкушившего плодов французской цивилизации, – все это подействовало на управляющего. Он понял, что борьба слишком неравна, и не только стал сговорчивее, но даже просил помилования, просил «не погубить его». Дела оказались вдруг вовсе не так запутанными, и управляющий обещал все устроить, все разъяснить и даже жизнь положить за своего князя.

Только этого и нужно было Косому.

Русский двор и общество Москвы не понравились ему. Он после Парижа нашел их слишком грубыми, и среди этих людей ему просто было тяжело. Оставаться в России ему не хотелось, его тянуло назад, в Париж. Однако князь решил предварительно съездить в деревню, устроить там окончательно свои дела, сменить управляющего и вернуться опять с сыном во Францию.

Попав к себе в деревню, он прежде всего начал устройство своих дел с того, что нашел барский дом усадьбы никуда не годным и принялся строить себе хотя маленькое, но сносное, временное, как думал он, помещение. Однако, начав строить, он втянулся в постройку, и «маленькое» помещение росло, управляющий сменился, и князь Косой застрял у себя в деревне, так же как застрял некогда в Париже.

Но надежды снова попасть туда он не оставлял и на границе своего имения водрузил столб с надписью: «Деревня Его Сиятельства Кириллы княж-сына Андреевича Косого – Дубо-

вые Горки, от Москвы 263 версты, от Парижа 2630 верст». Кто мерил эти версты и по каким, собственно, дорогам исчислены они были, этого, вероятно, не знал и сам князь Кирилл Андреевич, но на этой цифре он стоял упорно, как ни уверяли его люди, хотя немного сведущие, что до Парижа должно быть дальше.

Вследствие ловкости управляющего, а главное благодаря авторитету самого старого князя, относившегося крайне высокомерно не только ко всем окружающим, но и к власти имущим начальникам, хозяйство в Дубовых Горках ползло из года в год, и дела шли настолько успешно, что позволяли жить Кирилле Андреевичу, как ему хотелось. Претензии «частных лиц», основанные на документах, находившихся в руках управляющего, куда-то исчезли, не предъявлялись, и Косой считался в околотке вельможей, к которому ездили на поклон: он был первым лицом. Это льстило самолюбию князя и, может быть, было причиной того, что он чувствовал себя в Дубовых Горках вовсе не так уже скверно, чтобы особенно торопиться в Париж. Когда ему было скучно, он занимался воспитанием сына: летом учил его плавать и ездить верхом, а зимой давал ему уроки фехтования. Этим, собственно, и ограничивалось воспитание молодого князя Ивана, но зато он плавал, ездил и фехтовал превосходно.

Прожив в деревне около десяти лет, князь Кирилл умер в 1740 году, сорока девяти лет от рождения, простудившись на охоте.

Князю Ивану шел двадцать первый год. Он уже давно помогал отцу по хозяйству, но эта помощь ограничивалась лишь внешним наблюдением за работами, никаких же счетов, ни расчетов молодой Косой никогда не касался.

И вот после смерти отца вдруг к нему явился со всеми своими документами управляющий, и по этим документам стало ясно, что покойный старый князь чуть ли не самовольно жил последнее время в Дубовых Горках и пользовался ими, когда они уже давно должны были составлять собственность других лиц. Обязательства были несомненные, и доказать их можно было неоспоримо.

Князь Иван выгнал вон управляющего, чуть не избил его, но на этот раз управляющий не устрасился молодого и неопытного барчонка. Он удалился с чувством собственного достоинства и быстро повел дело.

Наехали подьячие, приказные, брали с князя Ивана взятки, но и пяти месяцев не прошло, как оказалось, что в Дубовых Горках полными хозяевами очутились эти самые приказные и бывший управляющий.

Сунулся князь Иван и к судьям, и к властям; везде его сожалели, но сделать ничего не могли и во всем винули, конечно, его отца.

Не сразу мог прийти в себя князь Иван, но однажды он все-таки проснулся с сознанием, что так дальше оставаться ему нельзя и что ему нужно предпринять что-нибудь. Но что предпринять, что было делать?

Прежде всего нужно было уехать из Дубовых Горок.

Князю Ивану было решительно безразлично, куда ни ехать, и он решил – в Петербург. Там все-таки можно было надеяться найти службу и покровителя.

Князь Иван велел вольнонаемному камердинеру отца, французу Дрю, уложить гардероб и ценные вещи и отправился в Москву. Там он выручил от продажи оставшихся у него после отца табакерок, колец и дорогих тростей довольно порядочную сумму, которой могло хватить ему на первое время.

В Москве же он продал своих лошадей и на вершенном ямских вместе с французом-камердинером отправился в дорогу.

II

Было раннее утро, когда князь Иван после долгого путешествия подъезжал к Петербургу. Стояли первые дня августа. Утро казалось теплым. Подымались испарения от болот, окружавших еще сплошным кольцом сравнительно недавно созданный Петром Великим город. В воздухе чувствовалась непривычная князю Ивану близость морской воды.

Самого моря еще не было видно, но уже отсюда, для человека, столько лет пробывшего во внутренней полосе, заметно было, что оно близко.

Князь Иван с последней станции, где его уговаривали отдохнуть, на что он не согласился, не рассчитал хорошенько времени своего приезда и очутился под Петербургом слишком рано – в седьмом часу утра.

Города он совершенно не знал и не имел понятия о том, где ему остановиться. Приходилось искать постоянного двора или какой-нибудь частной квартиры; но искать в ранний час было и затруднительно, и неудобно.

«Верно, тут где-нибудь у заставы есть заезжий двор, – сообразил князь, – тут остановлюсь и пережду немного».

И он стал искать глазами по сторонам видной далеко вперед, топкой и грязной прямой дороги, нет ли среди видневшихся на конце ее зданий, где, очевидно, была застава, чего-нибудь похожего на заезжий двор.

Старая, петровского фасона колымага, в которой из деревни сделал всю дорогу князь Иван, с французом-камердинером на козлах, тяжело катилась и на ровных местах не встряхивала, так что француз, задремав под утро, усердно клевал носом. Ямщик, как стала видна застава, прибавил хода лошадям, и строения, которые теперь внимательно рассматривал князь Иван, становились все ближе и ближе.

Это была кучка Бог ведает в силу каких причин скопившихся невзрачных домиков, среди которых выделялось мазанковое одноэтажное строение под черепичною крышей; на далеко выставленной из-под этой крыши палке болталась вывеска с нарисованным на ней рыцарем и голландскою надписью. Очевидно, это было именно то, что нужно. Иностранная надпись показалась князю Ивану утешительной. Оно все-таки лучше, чище, значат, если хозяин тут – иностранец.

Однако в этом пришлось разочароваться.

– Это что ж здесь, – спросил князь Иван ямщика, – заезжий двор, что ли?

– Херберг, кабак господский... Митрич держит.

– Какой Митрич?

– Ярославец. Сначала, говорят, голландец держал, еще при царе покойном, а потом рас-
торговался, в самый город перешел, Митричу передал. Он у него в мальчишках был.

– Ну, вези к Митричу! – решил князь Иван.

Колымага свернула с дороги, встряхнулась раза два, попав в ухаб, и остановилась у насланных деревянных широких мостков пред мазанковым строением.

– Приехали? – проснулся француз.

– Нет еще.

– О господин мой князь, – заявил Дрю по-французски, – я падаю от усталости!

В это время из двери под болтавшейся вывеской с рыцарем вышел степенный, в белой рубахе, старик, очевидно – сам хозяин, Митрич, как назвал его ямщик, и подошел к самой колымаге.

– Вот что, – заговорил князь Иван, – можно у тебя тут остановиться? Я чая напьюсь.

– Чай напиток можно.

– Ну, так вот мы вылезем. У тебя комната есть? Ты только самовар дай...

– Комната-то есть, только занята она. Господа из города еще вечер приехали.

– Какие господа?

– Известно, молодая кумпания... так, чтобы время провести. Так вот комнату заняли, – и Митрич, точно ему решительно было все равно, что это вовсе не устраивало князя Ивана, стал смотреть вверх до дороге, вдаль.

– Как же быть? – спросил князь Иван.

– Да чая напиток можно, если угодно, на вольном воздухе. Вот столик под окнами, сюда и самовар вынести можно.

– Так бы давно и сказал! – и князь Иван вылез из колымаги и, с удовольствием разминая ноги, пошел к столику под окнами здания.

Ямщик повернул во двор и увез снова задремавшего француза.

Князь Косой присел к столику. Почти в ту же минуту из двери вылетела босоногая девочка с красной камчатной скатертью в руках, накинула ее на стол, расправила и снова кинулась в дверь, застучав по доскам своими голыми пятками.

Окна дома были приподняты, и сквозь тонкие красные спущенные занавески князю Ивану было слышно то, что делалось внутри. Там «кумпания», о которой говорил Митрич, не спала.

– Ну, что же, – слышался чей-то молодой голос, слегка осипший, – хотели спать, улеглись и никто не спит. И мне спать не хочется...

– Да чего спать? Выдумали ложиться в седьмом часу! Теперь бы кваску испить.

– Рассола огуречного.

– А Левушка, кажется, заснул. Левушка, Левушка!..

Но тот, кого окликали, не отвечал.

– Левушка! – стали звать опять.

– Ну, сто, сто вам? Я не сплю, – ответил наконец, очевидно, Левушка (он шепелявил).

– У тебя руки чистые?

– Луки? луки у меня чистые...

– Почеши мне пятки...

В комнате послышался смех.

– Я вам в молду дам, – решил Левушка, и новый взрыв смеха покрыл его голос.

Хозяин, переваливаясь, принес самовар и поставил его на стол. Босоногая девчонка с прежнею стремительностью явилась с чашкой и блюдечком.

– Это что же они, – спросил князь Иван, кивнув на окна дома, – всю ночь не спали? Чего же они приехали сюда?..

– За городом вольнее, значит, – пояснил Митрич. – А чай сейчас ваш француз принесет. Медку не прикажете ли?

Князь Иван приказал медку.

III

«Кумпания», которую застал князь Иван в комнате «господского кабака» Митрича, состояла из нескольких молодых людей, собравшихся отпраздновать поступление в полк одного из своих товарищей, Володьки Ополчинина; они устраивали ему проводы.

В городе такой «кумпании» нигде не позволили бы оставаться всю ночь, и потому они выбрали «заведение» Митрича, как это часто делалось у них, забрали с собою вина и провизии, приехали к Митричу с вечера, пили, играли в карты, шумели на свободе, улеглись было спать в седьмом часу утра, но из спанья у них ничего не вышло, и они решили одеваться и приводить себя в порядок.

У кого-то в погребце нашлись мыло и бритва; поставили на столе, занятом еще остатками вчерашнего ужина, зеркало, и первым принялся за бритье Ополчинин, как наиболее предприимчивый из всех.

Шепелявый Левушка Торусский один было готов был заснуть по-настоящему, но его разбудили, поставили на ноги и заставили тоже одеваться.

Ополчинин выбрился, вымылся, надел камзол и был уже совсем готов, как вдруг один из компании, тоже одетый и сидевший у окна, на котором поднял занавеску, проговорил: «Ишь несчастный!» – и показал в окно.

Там, видимо, боясь ступить на мостки, стоял с непокрытой головой прохожий-нищий, по-видимому, бывший солдат, судя по облекавшим его отрепьям мундира и рваной штиблете на правой ноге. Левая была у него на деревяшке.

– Ага, не пустили! – улыбнулся Ополчинин.

– Кого не пускали, куда? – забеспокоился Левушка, тоже подходя к окну.

– Да вот его, – показал Ополчинин, – нынче нищих не велено в Петербург пускать...

– С июня уже не пускают. Указ был, – подтвердил кто-то, – нынче строго...

Нищий действительно стоял с таким расстроено-беспомощным видом, точно вовсе не знал, что же ему теперь делать! Он бессмысленно-тупо смотрел пред собою на дорогу, как бы не веря тому, неужели должен он будет опять назад мерять ее своею деревяшкой.

– В молду бы дать! – проговорил Левушка.

– Кому? ему? – улыбнулся Ополчинин.

– Я не пло него говолю. Я говолю, зачем его не пустили. Сто-с тепель он будет делать?

Шепелявое косноязычие Левушки показалось забавным. Все опять рассмеялись.

Нищий стоял не двигаясь, словно не живой человек. Только утренний ветерок слегка двигал прядями его седых, жидких волос.

– Вот сто – я ему поесть дам! – решил Левушка и, отрезав большой ломоть хлеба, взял кусок вареной говядины, положил на хлеб и хотел протянуть в окно.

– И совсем не так ты это делаешь, – остановил его Ополчинин, – разве так ему вкусно будет? – Он выдернул у Левушки хлеб с говядиной и, приговаривая: «Вот как надо, вот теперь вкусно будет», – зачерпнул ложечкой из стакана остатки тертого хрена со сметаной, размазал по говядине, потом самым серьезным образом захватил ложечкой же мыльной пены с бумажки, о которую вытирали бритву, и размазал по хрену эту пену, вместе с черневшими в ней сбритыми мелкими колкими волосками. – Вот как надо! – снова повторил он и, прежде чем успели остановить его, высунулся в окно и крикнул: – Эй, ты, дедушка, на вот тебе!..

Старик оглянулся, быстро-быстро заковылял к окну, принял, видимо, привычным движением подавание, перекрестился и жадно откусил беззубым ртом большой кусок, очевидно будучи голоден. Он зажевал, попробовал проглотить и вдруг остановился, разинул рот; его глаза раскрылись, лицо налилось, покраснело, и старческий, сверх его сил, кашель, затряс все его тело. Нищий выронил кусок из рук, заплелал; от этого кашель усилился, старик затрясся еще больше и закачал головою.

Против ожидания Ополчинина, вышло вовсе не смешно; напротив, всем сделалось неловко, но никто не сказал ни слова. Притихли все, и точно время остановилось. Молчание показалось долгим, томительным, бесконечным.

– Этот подлый народ всегда притворяется, – проговорил наконец, словно оправдываясь, Ополчинин и так, не то для того, чтобы сделать что-нибудь, не то – чтобы придать себе куражу, налил из недопитой бутылки полный стакан хереса и выпил его залпом.

– О-ох... чтоб вас... о... о... чтоб вас! – силился сквозь кашель выговорить старик.

– Да долго это ты будешь так? – вдруг, неожиданно для всех, вспылил Ополчинин и ударил кулаком по подоконнику. – Молчи!..

Бессонная пьяная ночь, после которой он успел уже отрезветь к утру, теперь, после выпитого залпом стакана хереса, снова дала себя знать. Он опять опьянел сразу и от этого хереса, и от усилия крика, и удара кулака.

– Да дайте ему воды, – нашелся наконец кто-то, – дайте ему воды, пусть горло прополосчет!

– Я ему дам, подлецу, воды! – сквозь зубы проговорил Ополчинин и со сжатыми кулаками и налившимися кровью, пьяными глазами, кинулся вон из комнаты. За ним выскочили остановить его. Однако он вылетел, как сумасшедший, из двери. – Молчи, молчать! – неистово заорал он. – Убью!

Но здесь сильные, здоровые руки остановили и встряхнули Ополчинина; его держали в упор, и незнакомое, чужое, строгое лицо было близко к его лицу. Не понимая, откуда взялся этот чужой человек, державший его, безобразник попробовал рвануться, но его не пустили. Князь Иван, успевший вовремя вскочить и остановить его, держал его крепко.

Несколько секунд между ними происходила молчаливая, упорная борьба. Ополчинин, кряхтя и тяжело дыша, напрасно силился вырваться. Наконец, когда проблеск сознания мелькнул в его лице, князь Иван выпустил его.

Ополчинин остановился, втянув голову в плечи и продолжая дышать тяжело, несколько раз оглянул своего оскорбителя, каким казался теперь ему князь Иван, и, с трудом переводя дыхание, заговорил:

– Милостивый государь мой, сударь, за такие поступки разводятся поединком! Вы имеете дело не с подлым народом, чтобы хватать так людей...

Он отступил на шаг и потянул из ножен свою шпажон-ку. Князь Иван улыбнулся, как улыбается человек, которого хотят поучить в том, что ему слишком хорошо известно. И тут на мостках, возле мазанкового здания, под качавшейся вывеской заезжего двора, они начали драться.

Князь Иван сразу увидел, что его противник фехтует гораздо хуже, чем он сам, и, не переставая улыбаться, стал легко играть оружием, свободно парируя неумелые выпады.

– Что вы, что вы!.. бросьте, бросьте!.. – заговорили кругом. – Граф едет, граф!..

Это слово «граф» произносилось с таким благоговейным смятением, что, видимо, вся молодежь забыла все, кроме него, и несколько рук уцепились за князя Ивана и Ополчинина и растащили их.

На дороге возле мостков стоял верховой и, громко разговаривая, показывал назад, где виднелась на быстром ходу приближавшаяся группа всадников и между ними запряженная шестеркой цугом карета.

– Нехорошо, граф едет! – повторил верховой, когда разняли дравшихся, и, оглянувшись, еще раз назад, поскакал дальше.

Тяжелая карета, окруженная несущимися вскачь рейтарами, быстро мелькнула мимо, простучав колесами, и, когда она проехала, князь Иван, оглянувшись, не нашел уже никого вокруг себя. И бешеный молодой человек, которого инстинктивно остановил он и затем убедился в его плохом умении драться на шпагах, и его товарищи, испугавшиеся так окруженной рейтарами кареты, в которой проехал какой-то «граф» – скрылись, должно быть, в дом.

Только один, шепелявый, стоял, опустившись на одно колено у конца мостков, и, оглядываясь на князя Ивана, звал его.

– Сьюсайте, плидите, плидите сюда, посколей!.. – говорил он, махая рукой князю Ивану.

IV

Оказалось, что, когда Ополчинин выскочил из двери, старик-нищий невольно попятился назад, шагнул и, забыв, что он на краю мостков, оступился своей деревяшкой и полетел вниз.

Должно быть, при падении он ударился головой об острый камень, по крайней мере он лежал, стонал и не делал усилий подняться.

– Батюшки, да у него голова в крови! – вырвалось у князя Ивана, когда он подошел.

С помощью Левушки он поднял старика и положил на скамейку у стола, где пил чай. Левушка бегал, суетился, приносил воды и все что-то рассказывал шепелявя.

Затем они вместе сами устроили старика, обмыли его окровавленную голову, влили ему в рот вина.

Старик очнулся, перестал стонать и полуоткрыл глаза, но, полуоткрыв их, сейчас же снова поспешил опустить веки, словно уверившись, что так, с закрытыми глазами, ему было совсем хорошо, и он был доволен, и боясь, что это пройдет, если он хоть как-нибудь переменит свое положение.

Князь Иван с Левушкой оставили его.

– Сто-с нам тепель делать? – спросил Левушка, когда они оставили его, – ведь вы знаете, они уже уехали.

Князь Иван тут только вспомнил, что действительно, пока они возились с нищим, он видел, как из ворот выехали две колываги с молодыми людьми, товарищами Левушки, прогромыхали по деревянной настилке мостков и свернули в сторону города.

– Вот сто, – стал предлагать Левушка, – у вас есть экипаж?

– Есть, – ответил князь Иван.

– Ну, так вот мы положим этого сталика в ваш экипаж – его так здесь оставить нельзя – и отвезем его ко мне, а сами пойдем пешком до заставы, а там найдем извозчика и поедем: он – в вашем экипаже, а мы – на извозчике. Вы куда тепель?

Князь Иван ответил, что Петербурга совершенно не знает, знакомых таких, у которых можно было остановиться, у него нет, а что он хотел сначала поместиться на постоялом дворе и затем приискать себе квартиру.

– Так поедемте ко мне, плямо ко мне, – запросил Левушка, – отлично! Где вам по постоялым дволам искать? Вы у меня остановитесь! Пожалуйста!..

Они уже успели познакомиться, то есть назвать себя друг другу, и князю Ивану этот Левушка, хотя он ничего еще не знал о нем, кроме того, что его зовут Левушкой Торусским, казался довольно симпатичным своим бесконечным добродушием, проглядывавшим в каждом его движении, слове и в особенности в глазах, которые, когда он говорил, оживлялись, красили все его некрасивое, с веснушками и с маленьким вздернутым носиком, лицо. Пока князь Иван улыбнулся только предложению Левушки, но согласия окончательного не выразил.

Солдата они все-таки уложили в колывагу, повязав ему голову намоченным полотенцем, которое купили у Митрича.

Левушка так хлопотал, словно нищий был ему родной или близкий и словно нельзя было и сомневаться в том, что они должны были везти его в колываге к нему, к Левушке.

Колывага поехала шагом, а они пошли рядом, пешком.

Левушка говорил без умолку. Он сейчас же рассказал, что живет в Петербурге один, в большом доме своей тетки, старухи Торусской, сестры его отца, которая живет постоянно в деревне, потому что она – поклонница старых порядков и терпеть не может петербургских новшеств, заведенных сорок лет назад покойным императором. Дом в Петербурге, на Васильевском острове, достался ей по наследству от ее отца, Левушкина деда, который должен был выстроить этот дом против своей воли, по повелению Петра, приказывавшего зажиточным дворянам строить дома в Петербурге. Воспитывался Левушка у этой же тетки, потому что в раннем детстве остался «силотой».

– А у вас есть отец и мать? – спросил он у князя Ивана.

Тот ответил, что нет.

– Значит, вы тоже – силота! – сказал Левушка, и в первый раз князю Ивану пришлось сознательно применить значение этого слова к себе.

Он ведь действительно был теперь сирота, но как-то раньше ему никогда не случалось думать об этом.

Затем Левушка рассказал, что тетка прислала его в Петербург, чтобы он осмотрелся и сам выбрал, что лучше, что хуже. Понравится ему служба и город – пусть останется в Петербурге, нет – пусть вернется в деревню и приобькнет к хозяйству. Он – не девочка. Была бы девочка – старуха знала бы, что с ней делать, но с мужчиной труднее, лучше сам пусть выбирает. Однако Левушка до сих пор еще ничего не выбрал, хотя три года живет в Петербурге. Хотел он поступить на службу, но нынче это очень трудно, потому что все немцы в ходу, им одним только служить и можно. Он уже давно хотел вернуться к тетке в деревню, чтобы «приобькнуть к хозяйству», но все боится упустить что-нибудь здесь, в Петербурге. А вдруг тут выйдет для него что-нибудь «интелесное»! Но пока-то ничего еще не выходит. Вот Ополчинин поступает в полк. Может быть, и сам он, Левушка, поступит. Эти молодые люди все пристают к нему, чтобы он поступил, и тогда они устроят ему такое же «прощанье», как и Ополчинину. Компании Ополчинина он, собственно, очень не любит. Но они приезжают к нему, уговаривают, и отказать нельзя, хотя их постоянные кутежи и попойки кончаются обыкновенно нехорошо, вот как сегодня, и хуже всего, что Левушке приходится расхлебывать и расплачиваться. О, сколько раз Левушка хотел просто «дать им всем в молду» и перестать водиться с ними, но все как-то выходит, что отделаться от них окончательно нельзя! Теперь, однако, Левушка решился серьезно прекратить всякие сношения с ними.

– Так у вас нет никого в Петелбулге? – переспросил он, опять неожиданно переводя речь с себя на князя Ивана. – О, так я вас познакомлю! – воскликнул он, когда князь Иван снова сказал ему, что никого, кроме разве Соголевых, не знает в Петербурге. – Отдохните немного с дологи, голод посмотлите, а потом я вас познакомлю. Ведь вы не любите пить и иглать, как Ополчинин?

Было что-то наивно-детское во всей болтовне Левушки, но именно эта-то детская наивность и нравилась Косому.

«Славный, должно быть, все-таки в душе человек!» – решил он про Левушку и с особенным удовольствием ответил ему, что вовсе не любит ни пить, ни играть.

– Ну, вот и отлично! – подтвердил Леаупша. – Так будемте длузьями. А это о каких Соголевых вы говорите?.. Соголевы... Соголевы... я сто-то помню. Встречал. Погодите – мать и две дочки... Кажется, знаю.

Соголевы были единственные, о ком князь Иван мог сказать, что знает их в Петербурге. Это были соседи по имению князя Ивана. Имение у них было крохотное, с маленькими доходами. Несколько лет тому назад они приезжали туда летом, и отец князя Ивана, державший себя очень гордо с мужчинами, напротив, выказал крайнюю вежливость к Соголевой, поехал к ней первый и послал сына. Князь Иван был у них раза три. Потом они уехали назад, в Петербург.

Князь Иван никак не предполагал, что Соголевы жили в Петербурге так, что все-таки их знали, и теперь ему было приятно, что этот случайно встретившийся ему молодой человек, очевидно принадлежащий к хорошему петербургскому обществу, знаком с ними.

Под болтовню и рассказы Левушки они почти незаметно прошли заставу и сделали еще добрый конец, пока нашли извозчика, уселись и поехали на Васильевский остров в дом, где жил Торусский.

V

– Как, вы не знаете, кто такой граф Линал, – удивлялся Левушка, когда, сидя вместе с ним за завтраком, умытый и переодевшийся с дороги князь Иван спросил его, какой граф сидел в этой карете, произведший такое впечатление, когда они были за заставой.

Оказалось, граф Линар теперь – всё. По словам Левушки, который горячился, рассказывая, граф Линар – то же самое, что был Бирон при покойной императрице. Линар был посланником саксонского двора, приезжал сюда лет пять тому назад. И тут вышла ужасная каша, такая каша, что просто ужас... одним словом, все тогда знали, что его удалили отсюда потому, что в него влюбилась принцесса, нынешняя правительница. И вот когда она стала теперь правительницей, то Линар снова появился. И сначала это был секрет.

– То есть как правительница, – пояснил Левушка, – относилась к графу, и все мы пло это говорили сопотом, потом плинц, муж правительницы, узнал... Я бы на его месте плосто ему в молду дал и кончено... плаво, в молду!.. Сто это такое!..

Но принц был другого характера, чем Левушка. Он отнесся к своему положению довольно своеобразно. Раз пожелал он погулять в Летнем саду. А там гуляют правительница и граф Линар. Принц хочет войти, а часовой не пускает его. Принц говорит: «Как смеешь меня не пускать?» – а часовой загородил вход ружьем и не пускает. Тогда принц очень обиделся и пошел жаловаться всем. Уж ему бы молчать, молчать и молчать, а он всем рассказывает.

– И сто-с вы думаете? – продолжал горячиться Левушка. – Вдлуг – челез несколько влени, это недавно случилось – объявляют свадьбу Линала... как вы думаете, с кем? – с Юлианой Менгден, любимой флейлиной правительницы. Тепель, когда эта свадьба объявлена, все злые языки должны замолчать, потому что им уже нечего делать и говолить больше ничего нельзя. Глаф Линал женится на Юлиане Менгден. А, каково это?

– И неужели они согласились? – невольно спросил князь Иван.

– Кто? Глаф Линал и Юлиана Менгден, как видите, согласились. Ведь их блак политический. В высшей политике такие блаки допустимы.

Левушка, видимо, вполне верил, что этот брак и в самом деле «высшая политика» и что он допустим.

– Ну, вот тепель, – продолжал он, – глаф Линал сколо должен уехать по делам за гланицу. И, как только он велнется – будет его свадьба, и тогда он пелейдет в лусскую службу и станет опять тем, чем был Билон. Мы все готовы к этому. Но все ужасно хвалят Юлиану Менгден. Это – самопожелтвование с ее столоны... Знаете сто? До обеда осталось еще довольно влени. Хотите, я вам покажу Петелбулг? Я велю заложить лошадей, и мы поедем...

Этого уже князь Иван никак не ожидал. Он знал, что Левушка провел бессонную ночь, и удивлялся, что тот разговаривает с ним теперь, а не идет спать. Левушка между тем еще хотел везти его по Петербургу.

– А вы разве не устали? – спросил он. – Ведь вы всю ночь не спали. Вам бы отдохнуть теперь...

– Ах, нет, помилуйте! – рассмеялся Левушка, – Сто-с такое... Я засну после обеда, а тепель поедем. Вы мне очень-очень понлавились, и я так лад вам, так лад, как будто мы с вами давно-давно уже знакомы... Пожалуйста, поедем! Я велю закладывать...

Князь Иван не мог не сознаться, что и в своей душе тоже ощущал чувство приязни к Левушке. Сам он вовсе не устал после дороги, да и ему очень хотелось посмотреть Петербург.

– Так мы едем, – решил Левушка и пошел велеть закладывать.

Когда лошади были поданы, они уселись и поехали.

– Вот видите, это – Исаакиевский мост, – говорил Левушка с счастливым выражением лица, когда они переезжали мост с Васильевского острова через Неву.

Этот мост деревянный, на плашкоутах, они видели уже сегодня утром, но Левушка все-таки считал долгом теперь, когда «показывал» князю Ивану Петербург, снова обратить на него внимание Косого.

С моста они въехали на большую немощеную, поросшую травой с протоптанными по ней тропинками, площадь. Налево виднелись валы и верфи адмиралтейства с подъемными мостами и высоким частоколом. Направо возвышался каменный дом.

– Этот дом – бывший Меншикова, – пояснил Левушка, – тепель в нем живет Миних...

– Да, несправедливо с ним поступили! – невольно вырвалось у князя Ивана.

И до него уже, в деревню, дошли рассказы о том, что сделали с Минихом, предводителем наших войск против турок и, главное, непосредственным участником ареста Бирона. Он, этот Миних, только в прошлом году, в ноябре, возвел во власть Анну Леопольдовну, а в марте нынешнего года она объявила об его отставке с барабанным боем на улицах Петербурга.

– Так ведь это было недолазумение, – ответил Левушка про барабанный бой. – Это все плинц Антон напутал. Потом к Миниху извиняться посылали. Сенатолы ездили... Но, конечно, сталик обижен... А это вот новый Исаакиевский собол стлоится, – показал он прямо на начатую постройку, – а вот там стальной, делевянный, – снова показал он на маленькую деревянную церковку по тому направлению, куда они ехали.

Они обогнули церковку и свернули направо по длинной, терявшейся в отдалении, аллее, вымощенной бревнами и обсаженной по обеим сторонам деревьями.

– Невская плоспектива, – сказал Левушка.

По Невской перспективе ехать было трудно – во-первых, оттого, что расшатанные местами бревна подымались и шлепали, как клавиши, а во-вторых, от тесноты скучивавшихся возов и телег с дровами и сеном. По сторонам изредка попадались каменные палаты рядом с невзрачными деревянными домиками, и тянулись длинные-длинные заборы.

По мере того как продвигались по Невской перспективе, теснота и давка становилась все больше и больше, и наконец вся путаница возов, телег и экипажей слилась с гудящею толпою, среди которой сновали торгаши с лотками, а направо, у сколоченных кое-как из досок шалашей и ларей под парусинными навесами волновалось море народа. Вся эта толпа напомнила князю Ивану ярмарочный день в деревне, только, конечно, в больших размерах.

Князь Иван помнил Париж по впечатлениям детства и невольно, с улыбкою, сравнивал этот старинный, с узкими улицами, город с широко раскинувшим свои пределы, но пустынным Петербургом, где было гораздо больше домов строившихся, чем уже оконченных.

– Это после пожалов все стлоятся, – рассказывал Левушка. – Когда я плиехал в Петелбулг, то почти весь голод был в головешках.

Он говорил о большом пожаре 1737 года.

Но и дома, уцелевшие от этого пожара, тоже были, разумеется, недавней постройки.

Как Москва поразила князя Ивана, когда он в первый раз приехал в нее, обилием своих церквей, так главною, типичною особенностью Петербурга показалось ему обилие воды, судов, барок и заведений кораблестроения. Кроме огромного Адмиралтейства на площади у Исаакиевского моста, они проехали по берегу Фонтанной еще мимо верфи; словом, куда ни оглянись, всюду торчали мачты, паруса, и даже леса строящихся домов стояли точно сухопутные какие-то корабли.

На улицах вперемежку с русской слышалась иностранная речь – голландская, шведская, немецкая. Чем-то чужим, не русским веяло от Петербурга.

Летний сад, мимо которого проехали они, тоже не произвел на князя Ивана никакого впечатления, хотя Левушка и рассказал ему, что там великолепные фонтаны, статуи и гроты, а по ту сторону сада, на берегу Невы, стоит бывший дворец Анны Иоанновны с цельными зеркальными окнами, дворец, в котором она умерла, и куда теперь на лето переехала правительница с младенцем-императором.

Проехали они и слитый с Летним садом Царицын луг, засаженный деревьями с разбитыми между ними цветниками.

За Царицыным лугом, на противоположном от Летнего сада конце, были устроены канал и широкий бассейн. Это место, по словам Левушки, называлось «Па-де-Кале»...

Тут, у этого места, где начиналась Греческая улица, Левушка показал князю Ивану на один дом, сказав:

– А тут живет плинцесса Елисавета Петловна... Вот если бы она плавила, так настоящее бы лусское плавление было.

Князь Иван невольно дольше остановился глазами на доме, где жила дочь императора Петра Великого, и сердце его сжалось. Дом казался безмолвным, тихим, а между тем той, которая жила здесь, именно и нужно было быть на виду, держать в своих руках державу и скипетр своего отца. Каждое русское сердце чувствовало это.

– А неужели она так и примирится со своим положением? – спросил он.

– Тсс... – перебил Левушка, – это – секлет. Это я вам потом ласкашу... А как у вас в пловинции относительно этого?

Князь Иван не дал прямого ответа. Ему не хотелось говорить об этом.

Дальше Левушка показал дом Густава Бирона, брата герцога, почтовый двор, мимо которого они выехали на набережную, укрепленную деревянным парпетом, и маленькое двухэтажное каменное здание под наклонною голландского образца крышею – Зимний дворец, и снова князь Иван не мог не улыбнуться, сравнив это здание с дворцами, которые, он помнил, были в Париже.

От Зимнего дворца, обогнув адмиралтейство, они снова по Исаакиевскому мосту вернулись на Васильевский остров.

Не то что тоскливое, но грустное впечатление осталось в душе князя Ивана после первого его осмотра нового для него Петербурга.

Глава вторая. Семейство Соголевых

I

Несмотря на раннюю пору сезона и на еще не кончившийся траур по покойной императрице, в Петербурге начались не только маленькие собрания, но были уже балы и машкеры, в которых принимала участие даже сама правительница, только что оправившаяся после рождения своей дочери Екатерины.

Вера Андреевна Соголева со своими двумя дочерьми не имела приезда ко двору, но все-таки бывала в хорошем, имеющем связи с придворным, обществе и потому получала отовсюду приглашения.

Общество было вообще не многочисленно. Петербург в этом отношении тогда вовсе не был похож на город, а представлял собою как бы отдельные барские усадьбы, находившиеся не в далеком друг от друга расстоянии, как в деревне, а в близком соседстве. И бары жили друг с другом именно как соседи, зная один про другого все сплетни и всю подноготную.

Вере Андреевне отлично было известно, что приглашавшие ее с дочерьми на вечер Творожниковы тянулись из последнего, чтобы делать приемы не хуже, чем у других, точно так же, как Творожниковы прекрасно знали, что Вера Андреевна тоже понесет расходы сверх средств, чтобы привезти дочерей к ним, и тем не менее они делали вечер, а Вера Андреевна везла дочерей.

И первый вечер у себя они сделали нарочно раньше, в августе, во-первых, потому, что это оказывалось модно, во-вторых, для того, чтобы быть из первых, и в-третьих, наконец, потому, что в это время года все-таки угощение и все остальное было дешевле.

Вера Андреевна, отчаянно разводя руками, ходила вокруг стоявшей пред зеркалом младшей своей дочери Дашеньки, уже почти совсем одетой и причесанной.

– Нет, положительно, так невозможно, так невозможно, – говорила она, выходя из себя. – Эти портнихи совсем шить не умеют, совсем не умеют... Смотрите, Акулина Авдеевна, – повернулась она к немолодой уже женщине, очевидно, подразумеваемой под словами «эти портнихи», и дернула сзади на дочери лиф, – разве это возможно – морщит и потом горбит...

Жена придворного истопника Акулина Авдеевна, бывшая до замужества мастерицей у портнихи-француженки и теперь занимавшаяся самостоятельной практикой, стояла, кусая губы, видимо сдерживая свою злобу, и недоверчивыми сердитыми глазами смотрела на спинку лифа. Она в душе готова была согласиться, что платье, когда его шьет француженка, сидит гораздо лучше, но так как сама она лучше шить не умела, то ей и такая работа казалась хороша.

– Лиф как лиф, – проговорила она.

– Какой же это лиф? – снова подхватила Вера Андреевна, – это – дерюга какая-то, лапоть, а не лиф; в таком лифе она ни на что не похожа как сложена, а между тем в пору бы всякой быть сложенной так... Снимай! – вдруг резким движением обернулась она к Дашеньке и снова рванула на ней лиф.

Дашенька, слегка сутуловатая от неумения держать спину и голову, повела своими плечиками и, подняв взор на мать, стала снимать злополучный лиф.

У нее была привычка поднимать так глаза и подолгу останавливать неподвижно-наивный взгляд, отвести который как будто было ей лень.

Для Веры Андреевны лучше ее никого не было на свете, и она воображала, что ее Дашенька, несмотря на свой слишком большой нос, короткие ноги, низкий лоб и на этот неподвижно-наивный взгляд, – прелесть, как хороша собою. И каждый раз, когда Дашенька одевалась для какого-нибудь выезда, Вера Андреевна видела, что в ней что-то не то, но, разумеется,

приписывала это не самой ей, а недостаткам платья или прически. Акулина Авдеевна, на беду свою, была далеко не первоклассная портниха, в работе у нее всегда можно было найти какой-нибудь недостаток и придраться, и Вера Андреевна придиралась.

– Ну, вот изволь переделывать, мать моя, – снова заговорила она, когда лиф был снят, – делай, что хочешь, но так оставить нельзя!

– Да что же там переделывать-то? – попробовала протестовать Акулина.

– Что хочешь! Я почему знаю?.. я – не портниха, я не обязана знать, это – твое дело; ты сама видела, что скверно, ну и переделывай, и переделывай!..

У Акулины Авдеевны глаза вдруг наполнились слезами, но лиф она все-таки взяла.

– Ведь не французинка я, – окончательно обиделась она и, присев у окна, принялась что-то распарывать и зашивать, громко щелкнув зубами, откусывая нитку.

– Подержи! – крикнула Вера Андреевна одной из девушек, и та, кинувшись к Акулине Авдеевне, схватила конец лифа.

Портниха показала ей, как нужно было держать. Вера Андреевна строгим взглядом окинула комнату и пошла к своей другой, старшей, дочери Соне.

Та одевалась у себя. Это всегда так бывало. Когда собирались куда-нибудь, то для Дашеньки зажигались свечи у большого зеркала в спальне Веры Андреевны и туда сгонялся весь женский персонал штата Соголевых – четыре крепостные девки, и там же, когда приносили «новые», то есть перекроенные, выгаданные и переделанные платья, присутствовала Акулина Авдеевна, а Соня одевалась у себя в комнате, чуть ли не при сальных огарках, у своего маленького зеркальца одна, при помощи старухи-няни.

Она была почти уже совсем готова, когда к ней вошла Вера Андреевна и испытующе осмотрела ее с ног до головы.

Соня знала, зачем пришла к ней мать и зачем так осмотрела ее, и, выпрямившись во весь свой маленький рост, она прямо, весело взглянула на Веру Андреевну, как бы говоря: «Вот она – я!»

Она была гораздо лучше Дашеньки. И платье, сшитое тою же самой Акулиной Авдеевной, сидело на ее, несмотря на маленький рост, беспорочно сложенном стане прекрасно, и держалась она прямо, с осанкой, которая нравилась всем окружающим и за которую часто пилила ее Вера Андреевна, находя, что у нее «дерзкий вид», да и пудренная высокая прическа, противная, по мнению Веры Андреевны, лицо Дашеньки, удивительно шла Соне. Словом, Вера Андреевна, увидев ее во «всем параде», не могла не приостановиться, чтобы полюбоваться ею, как любят картину или красивой вещью. Но сейчас же, в тот же миг, почти одновременно к ней вернулось сознание, что это – ее дочь, но не Дашенька, а Соня. Она ни за какие блага в мире не создалась бы даже самой себе, что Дашенька хуже Сони, но то чувство раздражения, которое она испытывала постоянно к этой Соне, было не неприязнь, не нелюбовь, а именно безотчетное сознание, дразнящее и оскорбительное для материнского сердца, что старшая несравненно лучше младшей. И за то, что Дашенька как бы была обделена многим, Вера Андреевна инстинктивно, по материнскому чутью, а не с предвзятым намерением, старалась вознаградить ее своими ласками и заботами в ущерб, может быть, Соне. Дашенька считалась ее любимицей, и все верили в это, уверили Соню и старались уверить самое Веру Андреевну. Она сердилась, сердце свое срывала на Соне, и от этого выходило только хуже.

– Ты готова уже? – спросила она Соню тоном, в котором так и слышалась невольная враждебность.

– Сейчас, маменька, – ответила девушка самым милым, кротким, тихим и покорным голосом, – только перчатки надены.

Она была очень мила, говоря это, и знала в душе, что она мила, и что именно это-то перевернет еще больше Веру Андреевну, и потому так же бессознательно, как девушка не может не кокетничать, не могла не ответить на враждебность матери самым тихим и милым образом.

– Поскорей! – сердито проворчала Вера Андреевна, повернулась и ушла.

Соня улыбнулась ей вслед. Мать приходила на рекогносцировку, посмотрела, авось у нее не ладится так же, как там «у них» не ладилось. Но у Сони все было хорошо. И теперь она знала по виду и по тону матери, что действительно у ней было все хорошо.

– Да держись ты прямее!.. – сказала, вернувшись в спальню, Вера Андреевна Дашеньке, которая, выставив из-под подола свою большую ногу, без лифа, в одном упругом корсете, сидела, выгнувшись особенно заметно из этого корсета.

Дашенька подняла глаза и сделала, точь-в-точь как мать, движение головою, когда та сердилась.

– Ну, готово, теперь будет хорошо! – сказала в это время успокоившаяся уже за работой Акулина Авдеевна.

Дашенька вскочила, выпрямилась и завертелась пред зеркалом, снова надевая лиф.

– А Соня готова? – спросила она.

– погоди, видишь, нужно заколоть, – держа в зубах булавку и не раскрывая рта, остановила ее Вера Андреевна.

Лиф закололи, застегнули, подкололи, опять чуть было не нашли его совсем негодным; Акулина Авдеевна гладила его руками по талии, взбивала рукава, уверяла, что «очень хорошо»; Дашенька берегла свою прическу, чтоб не смяли ее, крепостные девки ползали кругом со свечами, ножницами, нитками и булавками. Наконец кое-как все наладилось, Вера Андреевна должна была остаться довольна, потому что и без того было поздно и давно было пора ехать.

– Да что ж Соня не идет? Вечно ждать себя заставляет, – проговорила Вера Андреевна, еще раз поправляя складки на дешевенькой юбке. – Подите сказать барышне, что я жду их... Нельзя так, моя милая! – обернулась она к входившей в эту минуту Соне, – мы и без того опоздали... Даша, погоди, ты вечно все забудешь... Мушку налепить нужно... где мушки?

Горничная, зная, что они потребуются, держала уже в руках открытую коробочку с мушками и поспешно подставила ее под пальцы Веры Андреевны.

– Да, право, не надо, – сказала Дашенька, – для замужней это необходимо, а для девушки и не налеплять...

– Ну, не разговаривай! – и Вера Андреевна осторожно налепила ей на левую щеку маленький черненький кружочек.

Вышло вовсе не хорошо.

– Я говорила, не надо, – повторила Дашенька и, наклонившись к зеркалу, сняла мушку, а затем провела несколько раз пальцами по щеке.

– Так и ты сними, – приказала Вера Андреевна Соне и, не дожидаясь, пока та сделает это, сама поднесла руку к ее щеке, где маленькая черненькая точка особенно оттеняла несколько грустную, задумчивую, нежную, милую улыбку Сони.

– Да, что вы, маменька? – рассмеялась она. – Ведь это у меня – родинка... Я мушек не наклеивала.

Вера Андреевна спохватилась. Соня была права.

– Ну, с тобой не сговоришься, – сердито проворчала она, – едемте!

II

Вечер у Творожниковых был в полном разгаре. Соголевы, хотя и приехали поздно, но все-таки не настолько, чтобы это было заметно.

Дашенька сейчас же пустилась танцевать, не разбирая кавалеров: она танцевала со всяким, подходившим к ней, а так как Соголевых самые лучшие кавалеры, занятые наряднее их

одетыми дочерьми более богатых семей, не то чтобы обходили, а просто не имели времени с ними танцевать, то и Дашенькины кавалеры были похуже остальных.

Соня, умевшая лучше сестры разбирать людей, отказывала большинству приглашавших ее.

Вообще такие вечера, как у Творожниковых, в маленьком зале, освещенном парными кенкетами на желтых стенах и тощею люстрой, среди жарко стеснившейся толпы, вечера, где, за недостатком полного штата лакеев, переодетые в лакеи дворовые разносили гостям домашнего приготовления мед, морс, пастилы и прочие сласти, не производили на Соню того радостного, приподнято-праздничного настроения, при котором единственно бывает весело. И она скучала, сидела, не танцуя, в сторонке и старалась не обращать ни на кого внимания. Ей нравились только настоящие, большие балы, которые она видела прежде и на которых лишь изредка бывала теперь.

В дверях зала из столовой стояло несколько молодых людей, с Ополчининым в середине. Они чаще проводили время в кутежах, чем в обществе, и потому в обществе слегка робели, и именно потому, что робели, говорили несколько более развязно, чем следовало, и смеялись, чтобы показать свою самостоятельность.

Они смеялись, заставляли Левушку Торусского произносить слова, которые выходили у него благодаря его косноязычию с другим значением:

– Скажи, Левушка, «игра»! – говорили ему.

– Игла, игла, – повторял Левушка...

– Что ты шить «иглой» собираешься? – спрашивали его, ко всеобщему удовольствию.

– Левушка, скажи «город».

– «Голод».

– Не «голод», а «город»...

– Ну, я же говолю «голод»...

И опять смеялись.

Двое стариков из столовой подошли к дверям, разговаривая о чем-то неминуемом падении, которого следовало ожидать, – должно быть, Остермана.

Молодежь расступилась.

– Я вам уверительно докладываю, что ему не миновать своей очереди, – сказал один старик другому.

– Ну, однако же, этот не таков – хитрая лисица! Нет, этот не дастся!

– Так всегда говорят, а потом на поверку выходит обратное. Уж у меня примета – кто у нас высоко залетит, тот и валится: Меншиков, Долгоруковы, Волынский, сам Бирон наконец; теперь Миних... А потом обгорелки-пеньки остаются.

– Как обгорелки-пеньки?

– Да так – вон хотя бы, сидит бедненькая, видите, вон у второго окна...

– Ну?

– Ну, это – дочурка одного пострадавшего вместе с Девиером еще, помните историю?..

Отец ее так и умер вскоре после того, как его сослали; именье – и было-то небольшое – отобрали в казну... Я ее у бабки помню, Соголевой старухи; она у бабки воспитывалась, она – сына Марьи Ивановны Соголевой дочь.

Старик вздохнул.

– Соголева помню. Как же... хороший человек был!..

– Ну, так вот девушку-то воспитали в шелку да в бархате, а теперь и стоп, и ничего...

– Как же она теперь?

– У матери живет. У матери ее есть какое-то именье... так совсем уж почти ничего.

Их две дочери...

– А мила, очень мила!.. Надо подойти к ней, все-таки я ее отца помню, помню и очень даже...

Старики прошли по тому направлению, где сидела Соня.

– Ах, Соголева, – вспомнил Левушка, когда отошли старики, – мне надо тоже подойти к ней!

– Левушка ухаживать собирается! – заметил кто-то, но Торусский, не обратив внимания, выждал, пока подошедшие к Соне старики, навстречу которым она встала, отошли от нее, и довольно уверенной походкой направился к девушке.

По тому удивленно-вопросительному взгляду, который она остановила на Торусском, видно было, что она имеет о нем очень неясное представление. Но он не смутился. Подойдя к Соне, он учтиво отставил левую ногу назад, прижал к груди шляпу и поклонился, как это мог только сделать вполне благовоспитанный человек. Клянясь, он задел кого-то из проходивших сзади шпагой, но это несколько не помешало строгой выдержанности его поклона.

Соня присела.

– Я не осмелился бы подойти, – начал Левушка, продолжая прижимать шляпу, – если бы не имел к тому особого интелеса...

Соня вдруг улыбнулась, как улыбаются обыкновенно, глядя на портрет мельком знакомого человека, когда вдруг узнают его. Слово «интелес», произнесенное Левушкой на свойственный ему манер, вдруг напомнило Соне, кто он такой, и она узнала в этом вежливо раскланивавшемся пред нею молодом человеке с веснушками и вздернутым носиком Торусского, которого встречала у одной из своих приятельниц, Наденьки Рябчич.

– Я вас у Рябчич встречала, – сказала она.

– Совелшенно велно, – подтвердил Левушка, – но я не осмелился бы подойти, если бы не имел к тому особого интелеса.

Он заладил об интересе, потому что ему хотелось поскорей сказать, в чем заключался этот интерес.

– Особый интерес? – переспросила Соня, видя, что этого ему хотелось.

– Да, у меня есть вам пеледать поклон, – и он опять, прижав шляпу, поклонился, опять задев проходивших шпагою.

– Осторожнее, молодой человек! – сказали ему сзади.

Левушка обернулся, стал извиняться, топчась на месте и стараясь, как бы не наступить еще кому на подол, и, когда обратился наконец снова к Соне, возле него стоял Ополчинин.

– Представь меня, пожалуйста, – сказал он Левушке, поклоном показывая на Соню.

Левушка видимо нехотя исполнил его просьбу.

Музыка, состоящая из клавикорд, скрипки и виолончели, заиграла в это время менуэт, и Ополчинин ловко расшаркался пред Соней, приглашая ее идти.

Ополчинин был видный и бравый молодец, с ним не было стыдно пройти в паре. Соня выпрямилась, незаметным, свойственным только девушкам, движением, которое является у них вместе с сознанием, что сейчас ими будут любоваться, как-то встряхнулась вся и, милая и грациозная, протянула свою маленькую затянутую в перчатку руку своему кавалеру.

Ополчинин танцевал скорее плохо, чем хорошо, но чтобы танцевать с Соней, нужно было только не сбиваться с такта и не сбивать ее. Она все делала и все умела. Они прошли ладно, в такт плавной музыке, которая словно сосредоточилась вся в движениях и плавности этой легкой, маленькой, чувствовавшей каждое свое движение и вместе с тем не замечавшей этих движений девушки. Соня шла так легко, так естественно просто, точно ей, как лебедке на воде, ничего это не стоило – ни малейшего труда, ни малейшего усилия. Она шла, не колеблясь, прямая и стройненькая, как будто не шурша даже платьем, не стуча каблуками, словно не замечая, что делают там внизу ее маленькие, чуть касавшиеся паркета ножки.

Ополчанин не узнал себя. Он не мог дать себе отчет, что сделалось с ним, но чувствовал, что и не нужно давать себе отчет, а нужно, затаив дыхание, подчиниться всем существом своим этой его партнерше, и только ей одной, и делать то, что делала она. Он ощущал и в себе необыкновенную легкость, и его ноги послушно и незаметно выделывали старательные па. Никогда еще не удавалось ему танцевать так. Ему бывало прежде как-то смешно глядеть на себя во время танцев, точно он, взрослый человек, делал что-то постыдное, но теперь это было совсем другое, теперь он не только чувствовал каждое движение своей дамы, но и предугадывал их, и с удовольствием делал то, что подсказывала ему музыка. Когда звуки становились более медленными, он послушно поддавался им и, гордясь собою и своею дамой, шел медленно и плавно; звуки ускорялись, и его сердце начинало биться сильнее.

Хорошенько он даже не успел разглядеть лицо Сони, когда подошел к ней. Он видел только, что Левушка разговаривает с какой-то хорошенькой барышней с черными глазками, и подошел так, сам не зная зачем, и, сам не зная зачем, просто, верно потому, что в этот миг заиграла музыка, пошел с нею танцевать. Но, как только пошел, он весь отдался своей даме, точно попав в царство, где она властвовала и была полной царицей. Очнулся он лишь тогда, когда нужно было подвести ее к месту, и танец кончился.

«Да, я знаю, что со мной так ловко, приятно и весело танцевать, как ни с кем», – как бы сказала улыбка Сони с черненькой точкой на щеке, когда он в последний раз поклонился ей.

Ее улыбка сказала или он сам подумал это про нее, когда она улыбнулась, Ополчанин не знал хорошенько, но, когда оставил свою даму и снова подошел к дверям, ему показалось, что он действительно вернулся из другого заколдованного мира, маленькую частицу которого показали ему.

– Хорошо танцует! – сказал кто-то, когда он подошел к двери.

– Еще бы! – ответил Ополчанин и небрежно облокотился о притолоку.

Левушка все время в продолжение менуэта стоял на месте, откуда ушла Соня, ожидая ее и не спуская с нее взора.

– От кого же у вас есть ко мне поклон? – весело спросила она, вернувшись, и как бы забыв сейчас и то, что танцевала, и того, кто танцевал с нею.

– Ах, да, поклон! – вспомнил Левушка. – У меня есть к вам поклон от молодого князя Косого.

Глаза Сони вдруг широко раскрылись и блеснули, точно искра мелькнула в них; но ни этих раскрывшихся глаз, ни их блеска Левушка, весь поглощенный новою для него прелестью Сони, которою он не переставал любоваться с тех пор, как подошел к ней, не заметил.

– Как же он поручил вам этот поклон? Где же вы виделись? – снова спросила девушка, но вполне спокойно и так равнодушно, точно и не было в ее глазах этой блеснувшей при имени князя Ивана искры.

– Он на этой неделе плихал, – стал объяснять Левушка, – и остановился у меня. Он отличный малый...

Но Торусский не мог договорить, потому что в это время на них налетела высокая, прямая, с очень тоненькой талией и длинными, худыми ногами Наденька Рябчич. Все ее движения были не то что порывисты, но, казалось, никак нельзя было ожидать, какое из них последует сейчас за предыдущим; как стрела, плохо сложенная из бумаги, делает совершенно неожиданные повороты-зигзаги на лету, так и Наденька Рябчич ходила, и бегала, и говорила, и делала все. Нос у нее был большой, тонкий, слегка книзу, и глаза большие, черные, тоже слегка книзу, будто косили они оба к носу, и вся она была похожа на большую, узкую, сложенную из бумаги, стрелу.

– Вы с Ополчининым танцевали, а? С Ополчининым? – порывисто спросила она у Сони, и, быстро повернувшись, юркнула назад.

Вслед за Рябчич подошел к Соне старик, который говорил, что знал ее отца. Потом заиграла музыка для нового танца, и к Соне вдруг подошло несколько самых завидных кавалеров из всего зала, так что ей пришлось только выбирать. Они видели менуэт, протанцованный ею с Ополчининым, и теперь наперебой старались пригласить ее.

Соня снова пошла танцевать, а Левушка снова остался один у окна.

Как только кончился танец, Вера Андреевна, заметившая, что Соня танцует в первых парах, а ее Дашенька толчется где-то на задах, подошла к дочерям и, спросив младшую, хочет ли она остаться еще, увезла их домой, потому что Дашенька не выразила желания остаться дольше.

III

Вернувшись домой от Творожниковых, Соня, простившись с сестрой и матерью, прошла к себе в комнату и позвала старуху-няню, которая ходила за ней.

Няня пришла заспанная, но, несмотря и на заспанность свою, сразу увидела, что Соня не такая, как всегда. Такое сосредоточенно-неподвижное, со стиснутыми губами, лицо у нее бывало только после крупных объяснений с матерью.

«Опять не поладили», – решила няня и, зная, что в такие минуты лучше всего не трогать Соню и не приставать к ней, поспешила уйти, собрав вещи.

Соня уже лежала в постели, когда няня ушла. Она поскорее легла при ней, чтобы остаться одной, и закрыла глаза, сказав, что устала.

Но, как только няня ушла. Соня подняла веки и блестящими, живыми глазами уставилась в полумрак чуть освещенной маленькой лампадкой у образа комнаты.

Встреча и знакомство с князем Иваном Косым, приехавшим из Дубовых Горок к ним в имение, не прошли для Сони незаметно, бесследно, как случайность, на которую не обратила она никакого внимания. Она лишь сравнительно очень недавно «забыла» об этой встрече и об этом знакомстве. Но раз ей приходилось «забывать», значит, было что-то такое, что она помнила, что оставило в ней след.

Князь Иван был красив собою, прекрасно говорил по-французски, прекрасно держался и во всем нем были видны порода и не только привитая путем воспитания, но прирожденная порядочность. И вот эта порядочность, хороший французский язык, красивое лицо и красивая осанка князя Ивана оставили след в воспоминании Сони. Она сама, воспитанная бабушкой, большой барыней, сразу увидела, среди деревенского захолустья, в молодом Косом «своего человека», принадлежащего к кругу, который нравился ей и который она любила.

Но не только это; в князе Косом было еще что-то притягивающее, особенное, задушевное, точно при первом же взгляде на него Соня поняла, что встретились они неспроста.

Виделись они нечасто – всего раза три-четыре, и ничего собственно в эти три-четыре раза не произошло между ними. Было что-то похожее на «начало» раз в аллее, когда они случайно остались одни, но это было так неясно, промелькнуло так скоро, что всё равно, что ничего не было.

Соня шла впереди, князь сзади нее. Она шла и чувствовала на себе его взгляд и боялась обернуться, чтобы не поймать этого взгляда врасплох. Она знала его – так смотрели, случилось, на нее и на балах в Петербурге; но странно: никогда ей не доставляло это такого удовольствия, как теперь. Теперь она, словно русалка, нежащаяся у берега на лунном свете, невольно чувствовала, что, помимо какого-нибудь усилия с ее стороны, как-то само собою, ее движения особенно мягки, гибки и походка особенно легка и красива. Это был один только миг. Князь Иван сейчас же догнал ее, спросил что-то, и они заговорили о постороннем, неинтересном, и все пропало.

Соня с матерью и сестрой уехали в Петербург, Косой остался в деревне, и года три они не только не виделись, но не было даже вероятия, что они увидятся когда-нибудь.

И вот каждый раз, когда в воспоминании Сони, при мысли о молодых людях, знакомых ей, произвольно для нее являлась статная, ловкая и красивая фигура князя Ивана, она делала над собой усилие, чтобы не думать о нем. Было ли это из самолюбия или ради инстинктивной самозащиты, но только она укрепляла себя соображением о том, что ведь он же, вероятно, не думает о ней, так что же ей вспоминать о нем, зачем?

И вдруг именно теперь, когда она почти уже приучила себя забыть князя Ивана, является совершенно неожиданно напоминание о нем: оказывается, он близко, он в Петербурге, здесь...

«Ну и что же из этого, что он здесь? – с улыбкой спрашивала себя Соня. – Ну, он приехал... Как, когда, зачем приехал он, все это ей очень хотелось знать, но она, боясь сразу выдать себя, да и неприлично было так уж очень интересоваться, нарочно ничего не спросила у Торусского. – И, наверно, никакого ему дела нет ни до меня, ни до кого... Однако ж он все-таки просил передать поклон, и именно мне. Почему именно мне, а не Дашеньке, не маме?.. Значит, они говорили обо мне, значит, он сказал что-нибудь Торусскому».

Соне было и приятно думать так, и вместе с тем беспокойно и «хлопотливо», как она мысленно называла подобное току состояние, в котором находилась теперь. У ней все уже было улажено внутренне относительно самой себя о князе Иване – она решила забыть его, а вот теперь начинаются опять «мысленные хлопоты».

Она знала, что не заснет, пока не успокоится, и по своей, известной только ей одной, привычке, приподнялась спиной к подушкам, села и поджала ноги коленами под подбородок. В таком положении одна, ночью, она решала обыкновенно все самые сложные вопросы своей жизни.

В это время раздался знакомый ей, всегда действовавший на нее раздражительно, стук деревянных каблуков Веры Андреевны. Этот стук, чистый, с отбоем, приближался к ее комнате, становясь все яснее, и доходил обыкновенно до самых дверей. Тут делался крутой поворот, слышалось движение размахнувшейся юбки, каблуки стукали резким ударом и начинали удаляться, постепенно замирая в отдалении; потом снова они удалялись, Это была привычка Веры Андреевны ходить так пред сном, и сегодня, несмотря на проведенный вечер в гостях, она тоже ходила. Соня слышала уже по характеру стука каблуков, что сегодня хождение будет продолжительно.

«Господи, даже ночью покоя не дадут!» – мучительно мелькнуло у нее.

Ничто не сбивало так ее в мыслях, как стук этих каблуков по ночам.

Главное, что ход ее мыслей как-то бессознательно подчинялся им. Когда каблуки удалялись – и мысли становились яснее, и все как-то улаживалось в них или открывалась надежда, что все уладится, иногда даже составлялись планы и находились пути к тому, чтобы все устроилось. Недоставало «додумать» какого-нибудь пустяка и все было бы хорошо, но именно в это время слышалось приближение каблуков к дверям, и мысли путались, сбивались и находились новые, непредвиденные препятствия.

Это бывали самые тяжелые, самые отчаянные минуты в жизни Сони. Она готова была сделать все, что угодно, лишь бы не было этих ужасных бессонных ночей, когда ей не давали заснуть набегавшие одна за другою мысли и стук шагов матери мешал разобраться в этих мыслях.

И сказать ничего было нельзя. Вера Андреевна, наверно, поставила бы в пример Дашеньку, которая спала же преспокойно. Да и Вера Андреевна была вполне и искренне уверена, что ходит тихо и никого не беспокоит. Для нее самой эти ночные хождения по комнатам были одним из мучительных выражений отвратительного состояния духа.

Сегодня, после вечера у Творожниковых, снова поднялось все в ней.

Что такое были эти Творожниковы? Ничего, так себе, и жить даже не умели порядочно, а между тем все у них было: и вечера они могли делать, и музыку нанимать, и дворовых держать. Да Творожниковы еще что!.. Но сколько же людей живут во сто тысяч раз лучше Творожниковых, а почему, за что, чем хуже их сама Вера Андреевна? Чем виновата она и что она сделала дурного в жизни, что жизнь так слагается для нее? Она вышла замуж и была счастлива со своим милым и любимым мужем. Достатки у них были небольшие, но все-таки на них хватало. Были знакомства, связи, муж служил и мог надеяться службой добиться совершенно обеспеченного положения, и тогда Вера Андреевна могла пожить в свое удовольствие. Но тут наступили эти ужасные дни падения Девиера, его казнь, а вместе с этим ссылка ее мужа, за которым ей не позволили следовать.

Он умер вдали от нее, скоро после того, как они расстались, и она осталась одна с двумя девочками. Старшая была любимица бабушки Соголевой. Та взяла девочку к себе, а с Дашенькой Вера Андреевна уехала в деревню, маленький клочок земли, ее приданое – все что у ней осталось.

Когда умерла свекровь, оказалось, что она жила долгами и после нее ничего нельзя было получить. Соня, приученная бабушкой к роскоши, вернулась к ней. Эта Соня ничего не просила и никогда не жаловалась, но Вера Андреевна видела, что ей тяжело.

И эта молчаливая покорность судьбе в Соне была точно живой, постоянный упрек Вере Андреевне.

Разве она не хотела бы дать дочерям и обстановку, и все условия хорошей жизни? Она для себя мечтала об этих условиях, но что же было делать, если они не давались, не приходили?

Дашенька, та была ребенок, та ничего не понимала, но Соня – один ее взгляд, иногда исподлобья, пристальный, чего стоил!

«Скверная девчонка, – думала про нее Вера Андреевна, – хоть бы рассердилась когда-нибудь! Ведь не сердиться нельзя: я сама не могу выносить эту жизнь, и она не выносит, больше, чем я, не выносит, а между тем тиха и молчаливая.

И Вера Андреевна все быстрее и быстрее ходила по комнатам и в сотый раз перебирала, кто из мужчин, старых или молодых – это было решительно все равно – может составить хорошую «партию» для ее дочерей, такую партию, которая позволила бы и им, и ей, Вере Андреевне, пожить в свое удовольствие, припеваючи, без нужды и недостатков.

Мало-помалу в мыслях ее нашлись такие женихи, и будущее начало рисоваться в светлых красках.

Тогда, перестав ходить, Вера Андреевна села в гостиной в первое попавшееся кресло и долго сидела там, мысленно переживая в будущем счастливые дни, которые она хотела бы приготовить своим дочерям.

IV

На другой день после вечера у Творожниковых Левушка сидел с князем Иваном и рассказывал ему впечатления вчерашнего. Он и слышать не хотел, чтобы Косой съехал от него.

И действительно оказалось, что помещение найти в Петербурге было гораздо труднее, чем думал князь Иван. К тому же его камердинер Дрю на третий или четвертый день пришел отказываться, говоря, что он думал, что у князя есть свой «дворец» в Петербурге и что он, француз Дрю, будет вознагражден за «все усталости» дороги жизнью во дворце, а между тем никакого дворца нет и Дрю нашел себе место у французского посла, который сейчас же взял-де его к себе, а потом он пойдет в учителя к кому-нибудь из «бояр».

Левушка посоветовал «дать фланцузу в молду» и рассчитать его. Князь Иван рассчитал французца и остался пока у Левушки.

– Вы понимаете, сто я влюблен, совелшенно влюблен, – говорил ему Торусский, – она такая холосенькая, такая холосенькая, сто плосто ужас. И все говолят это, и Ополчинин. Он танцевал с нею менуэт...

Князь Иван сидел глубоко в кресле, положив ногу на ногу, и усмехался в усы.

– Да, я помню ее, она очень мила, – согласился он с Левушкой.

– Не мила, а плосто класавица, плосто класавица, и танцует как – загляденье!.. – Левушка выкинул ногою особенное па. – Я ей пеледал от вас поклон.

– От меня поклон? – удивился князь. – Зачем?

– Да уж очень она была холосенькая... Нельзя было не пеледать. Ну как же, вы все-таки знакомы были и вдлуг без поклона. Я и пеледал...

– Да, разве что так!.. – опять усмехнулся князь Иван. – Но почему же именно ей, а не ее матери или сестре? Ведь у ней и сестра есть.

– А я их и не видел, совсем не видел... Сто мне было искать их? А ее я слазу увидел. Вы когда к ним поедете?

Левушка с такой уверенностью спросил это, точно не могло быть никакого сомнения, что князь Иван непременно должен был ехать к Соголевым.

– Что ж, я съезжу как-нибудь, – согласился князь Иван.

– Не «как-нибудь», а неплеменно на этих днях. Ведь вы все лавно ничего не делаете...

– Положим, что так, но все-таки без позволения неудобно. Вы спросите их, а потом я поеду.

– О, я, конечно, сплосу, конечно, сплосу, сегодня же поеду к ним и сплосу! Ну а вам Петелбулг все не нлавится?

Князь Иван ответил, что Петербург ему и сразу не то что не понравился, а просто произвел на него грустное впечатление, но вообще это, по-видимому, город, который может иметь будущность.

– Да ведь вы эти дни только внесность его видели, – заговорил опять Левушка, – а потому и судить о нем холосенько не можете. Погодите, я вас свезу кой-куда, познакомлю. Тут бывает весело, и можно влемя пловести холосо... Вот поедемте к Соголевым, к Тволожниковым, еще в нескольких домах я вас познакомлю, Лябчич наплимел. Она очень тоже мила... Потом велно встлетите знакомых васего отца и устлоитеесь отлично!.. А эта Сонечка Соголева все-таки – плелесть... – закончил Левушка и повернулся на каблуках. – Вот сто: я сейчас поеду, мне нужно в голод, и заеду между плочим к Соголевым. Я им скажу, что завтла повезу вас к ним... А пока вот сто я поплосу вас: если без меня плиедет доктол, то плимите его и покажите этого большого сталика.

– Какого старика? – переспросил Косой.

– А того, котолого мы подобрали у заставы, нищего, когда с вами встлелись, хломого... ему, кажется, хуже, так я за доктолом послал.

Князь Иван от души улыбнулся Левушке. По тем временам послать за доктором для какого-то больного старика нищего, когда многие не делали этого даже и для бедных родственников, было признаком и проявлением такой доброты, которой нельзя было не сочувствовать.

Князь Иван успокоил Левушку, что сделает все, как надо, и Торусский, засвистев, пошел из комнаты.

Князь был рад остаться один. Он с самого своего приезда в Петербург не мог привести в порядок свои мысли и разобраться в новых впечатлениях, слишком большою массою вдруг охвативших его.

Причиною этому была, конечно, не новизна города, Петербург не мог произвести впечатление на князя Ивана, отлично помнившего Париж и другие города Западной Европы, через которые им приходилось проезжать с отцом. Петербург совершенно не нравился князю Ивану, и он только из деликатности не говорил этого Торусскому.

Но дело было вот в чем: там, в провинции, возле Москвы, дела шли не блистательно, но люди, от которых зависела судьба окружающих, были все-таки русские, и с ними можно было знать, чего держаться. Была система, ужасная, несправедливая, тяжелая для обывателей, но все-таки система, по которой так и знали, что будет иметь перевес богатый и сильный. Так там и жили, и говорили, что за богатым не тянись, а с сильным не борись.

Здесь же, в Петербурге, ничего даже разобрать нельзя было. Город построен лишь неуступно сорок лет, а что ни шаг, что ни дом, то ужасная, самая неожиданная трагедия. Большинство каменных палат принадлежало не только сильным и богатым людям, но таким, которые в свое время могли бы всю Россию согнуть в бараний рог, и вдруг они же сами, эти люди, гибнут и их или ведут на плаху, или отправляют в ссылку.

Князь Иван еще раз перебрал в своей памяти виденные им на улицах Петербурга палаты, и все почти владельцы их, казалось, для того лишь возвышались, чтобы пасть ниже прежнего. Почести, власть и могущество тут были как будто ступенями к эшафоту. И все-таки всем хотелось этих почестей, и все искали их, и русские, и иностранцы.

Теперь власть была заполнена иноземцами. Они были полными хозяевами. И хоть чужой граф Линар, карету которого (он, наверно, на охоту ехал тогда) встретил князь Иван при своем въезде в Петербург, готовился распоряжаться Русью, как своим домком. Положим, Бирон распоряжался, но за Бироном все-таки стояла власть русской императрицы Анны, а теперь что?

И этот вопрос: «А теперь что?» – не давал покоя князю Ивану, и с самого дня приезда его в Петербург мерещился ему дом на Царицыном лугу, в Па-де-Кале, где, показали ему, жила великая княжна Елисавета Петровна. Неужели так-таки молчат все покорно и безропотно?

Но скоро, в тот же день, князю Ивану пришлось убедиться, что нет, не молчат, а напротив, делают дело, и дело это спорится.

Глава третья. Смерть старика нищего

I

Левушка еще не возвращался, когда к князю Ивану явился маленький казачок, Антипка, взятый Торусским из дворовых в услужение, с докладом:

– Дохтур немецкий приехали. Барин, уходя, вам приказал доложить.

– А, доктор!.. Знаю, – сказал князь Иван и, встав, пошел, не торопясь, навстречу врачу.

Этот доктор, видный мужчина, лет за сорок на вид, в безукоризненно сшитом кафтане и камзоле, в курчавом седом парике с распадавшимися на две стороны по плечам волосами, был совершенно не таков, каким представлял себе Косой «доктора» в этом Петербурге. Пред ним явился вполне элегантный барин, в кружевах, с выхолёнными руками в перстнях и кольцах и с манерами, не уступавшими по своей выдержке манерам любого маркиза в Париже. Он вошел смело и уверенно, раскланялся с князем Иваном и оглядел его пристально-внимательно с ног до головы.

– Я имею удовольствие говорить... – начал Косой, невольно конфузясь и от пристального взгляда, которым смерили его, и оттого, что такого важного барина придется ему вести к нищему старику.

– Я – Герман Лесток, – сказал с новым поклоном доктор и снова взглянул на Косого, видимо, ожидая, чтобы тот в свою очередь объяснил, кто он.

Князь Иван назвал себя и объяснил, что Торусский, которому нужно было отлучиться по неотложному делу, просил его принять за себя доктора.

– А вы, вероятно, недавно приехали; вы не петербургский? – спросил Лесток, неторопливо снимая перчатку с левой руки и привычным движением заправляя ее за края шляпы. – Я спрашиваю это потому, – добавил он на утвердительный ответ князя Ивана, – что почти всех в Петербурге знаю, а вас не имел чести встречать до сих пор.

Князь Иван повторил еще раз, что он лишь несколько дней тому назад приехал из провинции и вот остановился у Торусского.

– Но только как же, если он болен и посылал за мной, а поручил принять меня вам?.. Или вы с ним одною болью болеете? – улыбнулся Лесток, и на его пухлом, бритом лице с полным подбородком улыбка была так смешна, что князь Иван невольно рассмеялся.

– Вот видите ли, – стал объяснять он, снова конфузясь, – Торусский просил вас приехать собственно не для себя и не для меня, а для одного старика... Тут произошла одна история...

– Верно, на улице подобрал? – опять улыбнулся Лесток.

– Да, на улице... то есть почти на улице...

– Так и есть – узнаю моего Левушка! – Лесток говорил довольно правильно по-русски, как иностранец, долго уже живший в России и среди русских, но изредка вдруг прорывался на согласовании слов. – Это так на него похоже; он всегда такой. Ну, где же наш больной? – добавил он.

Косой увидел по этим словам, что этому важному доктору уже не впервые приходится лечить у Левушки нищих, и вздохнул свободнее. Он кликнул казачка и велел вести их к больному.

Антипка очень важно вывел их в коридор и, приглашая их следовать за собою, в конце ее растворил дверь в большую, светлую комнату, одну из лучших комнат дома, где находился больной нищий.

Он лежал на постели, отгороженной ширмами, под чистым одеялом, с расчесанными седыми космами волос, высывавшимися из-под белого платка, повязанного у него на голове. В обстановку, в которой лежал больной, не стыдно было ввести кого угодно.

Князь Иван остановился в ногах у кровати, а Лесток подошел к старику, положил на лоб ему руку, попробовал, потом взял смерить пульс.

Старик открыл глаза, долго, внимательно смотрел на доктора своими побелевшими, мутными глазами, как бы не понимая и с трудом делая усилие догадаться, что с ним хотят делать.

Лесток держал его за руку и, склонив голову на бок, словно прислушиваясь, смотрел на часы, которые держал другой рукой на колене.

Старик вздохнул протяжно, глубоко, как мехами, вбирая в себя воздух, и снова закрыл глаза, точно решив, что ему уже безразлично, что бы с ним ни делали.

– У него голова разбита, кажется, – понижая голос, сказал князь Иван, когда Лесток отпустил руку больного.

Доктор, не оглянувшись на Косого, развязал платок и стал осматривать голову.

– Кровь бросали? – спросил он.

– Бросали, – ответил тоненький голос Антипки, стоявшего у дверей. – Я чашку подавал.

Лесток снова принялся внимательно и добросовестно оглядывать больного и, провозившись с ним довольно долго и тяжело дыша, поднялся наконец, а затем с серьезным, несколько побледневшим лицом обернулся к князю Ивану и сказал по-французски:

– Плохо дело, он не выживет.

– Неужели? Разве это возможно?

– Да, он уже совсем стар. Два века жить нельзя.

– Да что с ним?

– Что! Ничего особенного – просто время помирать пришло.

– Ну а рана у него на голове опасная? Неужели это он от раны должен умереть? – волнуясь, спросил князь Иван.

– Может быть, и это повлияло, то есть дало толчок, но этот толчок пришел бы, пожалуй, и сам собою. Такие крепкие старческие натуры выносливы до своего срока, а там вдруг... и все кончено... У меня на глазах много примеров таких было.

Они уже шли назад по коридору.

– Но все-таки вы ему пропишете что-нибудь? – сказал князь Иван, как говорят обыкновенно в таких случаях не столько уже для больного, сколько для себя.

– Да, пропишу, – сказал Лесток, входя в кабинет Левушки, где стояло бюро с письменным прибором и очинёнными перьями.

Доктор сел к бюро писать рецепт, а князь Иван стал ходить по комнате, соображая, сколько нужно будет дать доктору. Рубля, конечно, мало, нужно по крайней мере золотой. Решив дать такую плату, князь отошел к окну и, вынув кошелек, осторожно, чтобы не было заметно, раздвинул кольца, достал золотую монету, а затем, спрятав снова кошелек в карман, зажал ее в кулак правой руки, вооружившись таким образом для прощанья с доктором.

Лесток кончил рецепт и поднялся от бюро.

– Нет, нет, этого не надобно, – заговорил он, улыбаясь, когда князь Иван хотел передать ему свою монету, – нет, этого совсем не надобно...

– Как не надо? – переспросил Косой, чувствуя, как кровь приливает ему к щекам. – Отчего не надобно?..

– Не надобно, потому что свое посещение я делаю именем великой княжны Елисаветы, лейб-медиком которой имею честь состоять. Раз делается добро ее именем – деньги не нужны.

Князь Иван вдруг с просветлевшим, радостным лицом взглянул на Лестока и воскликнул:

– Вы – лейб-медик великой княжны? Великой княжны... Ну, тогда я понимаю... я понимаю... Простите!

II

Должно быть, лицо и голос князя Косого выразили слишком уже восторженную радость, потому что Лесток еще раз с интересом и вниманием оглядел его тем же испытующим взглядом, как в момент своей встречи с ним.

– Чего же вы так обрадовались? – спросил он мягко и участливо, как бы понимая, впрочем, эту радость Косого и одобряя ее.

– Чего я обрадовался? Да как же!.. Я именно представлял себе великую княжну такую, да, именно такую... Где добро, милосердие – там и она. И вот первое, что мне приходится узнать про нее – именно доброе и хорошее дело... то есть человек, который стоит близко нее – делает добро ее именем. Да, так и нужно...

– Но разве не все мы обязаны делать добро и помогать ближним? – спросил Лесток.

– Да, обязаны... все это так, но вы понимаете, что я говорю... Мне было бы больно, если бы великая княжна и люди, окружающие ее, не делали этого, а теперь, когда я вижу, что они делают, я невольно радуюсь... Да сядемте, доктор, если у вас есть время...

– Времени у меня очень немного, – ответил Лесток, но все-таки сел на пододвинутый ему князем Иваном стул. – Итак, вы симпатизируете великой княжне?

– Да как же не симпатизировать? – подхватил князь Иван. – Она – дочь великого царя, наша русская, коренная... Посмотрите, что у вас делается! В чьих руках власть и правление?... Все это – чужие люди, которым до России, я думаю, дела нет. Ведь это ужасно...

– Еще бы не ужасно! – подтвердил Лесток. – При Бироне лучше было – тогда по крайней мере знали, кого и чего держаться. А теперь все – хозяева, все нос суют! Остерман с принцем делает одно, а правительница завтра все это переделает по-своему, и всякий, кто захочет, вертит ею. Уж о Юлиане Менгден говорить нечего...

– А правда, что граф Линар... – начал было князь Иван.

– Говорить противно... – сказал Лесток, махнув рукою.

– Нет, правда, что он женится на этой Юлиане Менгден? – переспросил Косой.

– Ну, что ж, и Бирон женился на девице Трейден – это еще ничего не доказывает. А вот что нехорошо: не нынче-завтра, того гляди, будет объявлена монаршая воля правительницы...

– Как монаршая воля? – подчеркнул князь Иван.

– Так: «Божиею милостию мы Анна Вторая...» провозгласит себя самодержавной императрицей...

– Ну, этому не бывать! – вырвалось у князя Ивана.

Спроси только его Лесток, «отчего не бывать этому», он ответил бы и высказал бы все то, что все эти дни неотвязчиво носилось в его мыслях. Он ответил бы, что есть в России императрица самодержавная, законнейшая, Елисавета Петровна, ради которой он, князь Косой, не задумается положить голову свою и жизнь отдать.

Но Лесток, точно и без слов понимая состояние души князя Ивана и заранее зная то, что он ответит, ничего не спросил и не дал даже ему говорить.

– А вот что удивляет меня, – сказал он, – это ваш французский язык и произношение... Вы говорите, как чистый парижанин...

Князь Иван почувствовал себя польщенным, испытывая свойственное всем русским удовольствие, когда про них говорят, что они хорошо изъясняются по-французски.

– Немудрено, – ответил он, – у меня мать была француженка, а кроме того я все свое детство провел в Париже. Я и родился там...

– Вот как!

Лесток, не торопясь, вынул табакерку, захватил добрую щепоть табака и, понюхав, стал расспрашивать обо всех обстоятельствах жизни князя Ивана.

Этот расспрос шел как будто в разговоре, и Лесток делал его так добродушно, остроумно и участливо, что князю Ивану совсем легко и просто было отвечать ему и рассказывать.

– Так, значит, это привезенный вами камердинер, француз Дрю, поступил на днях к французскому послу, господину Шетарди? – спросил Лесток, когда князь Иван рассказал ему о своем приезде в Петербург.

– Откуда же это известно вам? – спросил Косой, невольно удивившись.

– Случайно узнал я это, – пояснил доктор, – был у господина Шетарди и узнал, что у него новый лакей. Вот и все...

Лесток уехал, доброжелательно простившись с князем Иваном и произведя на него такое благоприятное впечатление, что Косой, чтобы не расстраивать своего восторженного состояния, остался дома и никуда не пошел, ожидая возвращения Левушки.

К обеду Торусский не вернулся, и князь Иван поел один, потом прилег отдохнуть немного, по усвоенной давно уже, в деревне, привычке, где все вставали рано и отдыхали после обеда.

Обыкновенно это было самое лучшее время у него для сна, но сегодня ему спалось плохо. Как только он закрыл глаза, пред ним вытянулось тело больного нищего под чистым одеялом, с упорным, стеклянным взглядом на почти безжизненном лице.

Князь Иван знал, что стоит ему сделать небольшое усилие, и этот вдруг пришедший ему на память, помимо его воли, образ старика исчезнет; но он нарочно не делал этого усилия и смотрел в темноту опущенных своих век, грезя наяву. Ему знакомы были такие грезы.

Вид старика был неприятен – точно в чем-то сам князь Иван был виноват пред ним, и даже не виноват, а просто между ними существовала какая-то таинственная связь, и не столько взаимное влияние, сколько влияние этого старика на князя Ивана. Все последние дни Косой весьма естественно думал о своем будущем, о том, как устроится его жизнь, совершенно неопределенная и неизвестная в этом будущем. И вот теперь, как это бывает только во сне или полусне, это будущее сливалось непостижимо и чудесно с существом старика, вытянутого под чистым одеялом.

«Что за глупости, что за пустяки!» – говорил себе князь Иван и, вполне разумно сознавая и соглашаясь, что это – глупости и пустяки, все-таки испытывал в душе жуткое чувство связи своего будущего с существом этого чужого, незнакомого ему, полумертвого, приговоренного к смерти доктором старика, пред которым он будто бы был виноват в чем-то.

И он лежал, не открывая глаз и боясь даже открыть их, чтобы не исчезло то, что он видел с закрытыми глазами, хотя это было ему и неприятно, и мучительно. Он знал, что ему нужно было уяснить что-то, уяснить без посредства логического мышления, которое не годится во сне: во сне нужно только ждать и «не мешать» тому, что происходит.

А происходило у него в душе нечто такое, что сначала было совершенно непонятно, а потом стало понятным и ясным. Ясно было то, что действительно в больном нищем заключалось будущее князя Ивана. Как это было, он не знал, но, только когда убедился и успокоился на этом, будущее стало уже не будущим, а прошедшим. Вместо длинного одеяла, под которым лежал старик, вытянулась тенистая кленовая аллея с золотыми пятнами светлых солнечных лучей, пронизывающих узорчатую листву деревьев. И по этой аллее идет он, сам князь Иван, и впереди его маленькая, милая девушка... Он делает усилие припомнить, узнать, кто она, и не может. Но вот она, не оглядываясь, а лишь слегка повернув назад голову, продолжая идти, приложила отвернутую руку немножко выше талии и провела ею машинально вниз к поясу и выпрямилась. И вот это движение напоминает ему всё. Он, как сейчас, вспомнил одно из своих посещений Соголева – имения тех Соголевых, о которых говорил сегодня утром с Левушкой и которых Левушка видел вчера. Он шел так по аллее со старшей – с Соней, и помнит, как почему-то, именно когда она сделала движение рукой и выпрямилась, у него словно сердце дрогнуло, и он запомнил и это движение, и ее красивую точеную руку, точно в эту минуту и в

ней, и в нем произошло что-то особенное, от чего они, сколько бы ни старались, не отделаются, да и отделяться не захотят.

И все это были глупости, опять это был вздор. Но это было так, и князь Иван не хотел, чтобы исчезали пред ним эта аллея и маленькая, милая рука, которая своим движением приворожила его к себе.

Но все-таки все это расплылось, задернулось туманом и исчезло в темноте. Князь Иван спал.

И вдруг во сне видит он, что из темноты, где сначала ничего не было и его самого не было, несется он, сидя в санках, с кем-то толстым, кого узнать не может, несется на лошади, черной, без отметины, которая быстро отбивает ногами по проложенной заранее дороге в гору с заворотом, с определенной колеей, откуда санки не могут выбиться ни в ту ни в другую сторону, а назад их не пускает широкий размах бега лошади... Потом они приехали куда-то. Быстрая езда доставила огромное удовольствие князю Ивану. Налево сад; он вышел из саней и боится. Боится он того, что хозяин с улыбкой выпускает на него свою черную лошадь, а она скалит свои белые зубы и протягивает морду к князю Ивану, стараясь укусить его. Князя Ивана одолевает скверный, заискивающий смешок, которым он хочет отделаться от всего этого, обратить дело в шутку, а у самого колена трясутся и сердце холодеет. Но смешок его все увеличивается, он хихикает и, видя, что все это – вовсе не шутка, прыгает в сад и лезет на дерево. А деревья все низенькие, с тоненьким, привязанным к подпорке, стволом и круглым шаром ровно подстриженной листвы. Князь Иван застревает головой в листве, а в это время лошадь начинает объедать его босые ноги, и князь Иван понимает, что это нарочно так устроено, чтобы лошади было удобнее есть не нагибаясь и что хозяин, который смеется, стоя и махая недоуздком с накрученными на руку веревками, вовсе не желает защищать князя Ивана и сад свой посадил вовсе не для того, чтобы там находили убежище от его лошади, а совсем напротив – для ее же удобства...

III

Когда князь Иван проснулся, он ощутил несказанное удовольствие оттого, что наяву нет ни черной лошади, ни ее хозяина с недоуздком и веревками. Пред ним стоял Левушка.

– Вы ничего не знаете, что случилось? – сказал он, будя князя Ивана.

Косой вытянулся, как бы для того, чтобы убедиться, что ноги у него целы, и, зевнув, спросил Левушку вместо ответа:

– А что значит лошадь видеть во сне?

– Лосадь? – переспросил Левушка. – Это ложь означает. А вы видели лосадь?

– Да, и прескверную...

– Ну это ничего, бывает! Я на днях лепу видел во сне, большую лепу... Нет, но вы знаете, что случилось?... Я оттого целый день домой не влазил... Швеция объявила нам войну, и мы опять воевать будем. Никто не ожидал этого... Свинство!.. Я бы в молду дал!

– Кому? Швеции?

– Да! Лазве можно так? Положим, были некоторые признаки, но все-таки... Двадцать восьмого числа вдруг плезжает к нашему послу Бестужеву шведский канцлер и говорит: «Мы с вами в войне и уж наши войска двинулись». Вот и здластвуй!.. На днях и нас манифест выйдет.

Левушка был, видимо, весь охвачен тем переполохом, который был вызван в петербургском обществе пришедшим недавно из Швеции известием. Общее волнение отразилось и на нем, и, когда князь Иван пригляделся к его несколько растерянному виду, то и сам почувствовал, как и его начинает охватывать беспокойное чувство сознания всей важности привезенной Левушкой новости.

– В самом деле, ведь это ужасно важно! – проговорил он, окончательно оправляясь от сна. – Кого же пошлют? Миниха?..

– Послали бы Миниха, да стлусят снова его в силу допускать. Остелман не дозволит, – ответил Левушка, видимо, повторяя слышанные им в течение дня слова общей молвы.

– Ну как же не дозволить? Неужели он будет считаться личными интересами, когда тут дело о России идет? – проговорил князь Иван.

– А сто ему Лоссия? Вот сто! – и Левушка сделал вид, что плюет. – Лазве с этим плави-тельством сто-нибудь возможно?.. Послют плинца Антона или Ласси... Да не в этом дело. Мы накануне пелеволота, а тут вдлуг эта война...

Левушка, в своей горячности, говорил, видимо преувеличивая, но князь Иван не мог удержаться, чтобы не спросить, почти вскрикнуть:

– Как «мы накануне переворота»? Какого переворота?

Левушка спохватился. Он приостановился было, но потом, словно махнув рукой, заго-ворил опять:

– Вплочем, сто ж, вы ведь – холосий человек. Вы не станете доносить, да и это все почти знают. Уж так в воздухе чувствуется, сто не долго им плавить... Плинцесса Елисавета...

И Левушка рассказал, как многие гвардейские полки, когда их вели присягать после ареста Бирона, думали, что присягать им придется Елисавете Петровне, и громко говорили об этом. Мало того, сам Миних, ведя солдат арестовывать Бирона, говорил им, что они сослужат этим службу государыне Елисавете. Затем недавно, месяц тому назад, на Царицыном лугу толпа военных остановила Елисавету Петровну и стала говорить ей: «Матушка, скоро ли, наконец, поведешь нас? Мы все готовы умереть за тебя!».

– Так, так, – поддакивал князь Иван, – так и надо, так и надо!..

Он радовался не тем фактам, которые сообщал Левушка, – их, очевидно, могло быть еще больше, – по тому, как он рассказывал. По оживлению Торусского видно было, что восторг в великой княжне живет не в одном сердце Косого, но именно «в воздухе чувствуется», как сказал Левушка, и это-то и радовало князя Ивана.

– Вот без вас Лесток был, – начал он, желая рассказать свой разговор с доктором.

– Ах, да! А сто сталик? – спросил Левушка.

– Плохо! Лесток объявил, что нет надежды. Он прописал все-таки рецепт. Я послал казачка в аптеку.

– Он велнулся уже. Я пойду пловедать сталика, – и Левушка, повернувшись по своей привычке на каблуках, легкою поступью пошел к двери, добавив: – Я сейчас велнусь; будем чай пить и плостоквашу есть...

И вот тут, пока Торусский ходил проведывать старика, с князем Иваном случилось неожиданное обстоятельство: ему пришли сказать, что бывший его камердинер, француз, требует непременно, чтобы князь принял его немедленно по очень важному делу. Косой пожал плечами и велел впустить француза.

Тот сразу, как вошел, заговорил таинственно, но очень многосложно, и из его длинной речи князь Иван понял, что Дрю очень доволен тем, что его привезли в Петербург, потому что он нашел себе отличное место у самого французского посла, а «служить при посольстве» очень важно, потому что это не простая какая-нибудь служба, а даются поручения чисто дипломатического характера, имеющие государственный интерес. И вот с одним из таких поручений он явился к князю Ивану, которого сам посол просит пожаловать к нему завтра утром в посольство. Дрю заключил речь выражением своей надежды на то, что князь не откажет исполнить просьбу посла и явиться на приглашение, так как этого требуют дела и обстоятельства, весьма и весьма важные.

Князь Иван только руками развел. Зачем он понадобился французскому послу и откуда тот узнал о нем – от самого ли Дрю, или от кого-нибудь другого, Косой не мог никак добиться

от француза, уверявшего, что все это – «государственная тайна». Так с этим и ушел француз, получив, однако, обещание от князя Ивана, что он в назначенный час будет у посла.

– Да, да, сходи, купи ему целковную свечку! – послышался в коридоре приказывающий голос девушки, почти сейчас же после того, как князь Иван отпустил Дрю.

– Какую? Кому церковную свечку? – переспросил князь входившего уже в комнату Торусского.

– Да все этот сталик чудит. Представьте себе, ни за сто не хочет принимать лекалства; говолит – все лавно помлет. И смолит так плистально. Плосил только свечу ему целковную купить, стоб зажечь ее, когда помилать станет... Я послал Антипку. Сто ж... когда он хочет этого!.. Ну, давайте есть! Вы не голодны?

За чаем князь Иван рассказал Левушке о посещении француза.

– Ну, сто ж, и поезжайте, – решил Торусский, – а потом велнетесь домой, я вас ждать буду, и мы вместе поедем к Соголевым! Я был у них и сказал, сто мы плиедем завтла. Они очень лады.

IV

Поздно вечером, когда Левушка начал уже раздеваться, чтобы ложиться спать, к нему пришли сказать, что больной старик просит его к себе.

Левушка сейчас же пошел к нему и некоторое время оставался с ним наедине, выслав из комнаты Антипку. Что они говорили там, или, вернее, что говорил старый нищий Торусскому, никто не слышал. Только камердинер Петр видел, как барин, вернувшись от старика, принес с собою свернутую веревку и бережно запер ее к себе в бюро.

Относительно веревки рассказывал тоже подробности и Антипка.

– Видишь ли, братец мой, – говорил он таинственным голосом собравшейся в людской дворне, – веревку эту самую я у старика на шее видел. Как только привезли его к нам, обмыли это мы его, рубаху чистую надели, потому так и барин велел: «Обмойте, говорит, его и наденьте рубаху чистую и положите в угловой»... Ну вот, хорошо! Только это убирают его, а он все это рукой вот так к груди-то дергает: я думал, мешает ему что, потянулся было оправить, а старик как замычит, да жалостно так, словно не трожь, мол, оставь. Я и говорю: «Деинька, не сумлевайся, твое при тебе останется». Я думал, у него на шее-то деньги али что; только повернули мы его, я вижу – ничего такого нет, а просто вот как есть веревочка скручена и висит на шее-то у него...

– Веревочка? – переспросил чей-то голос.

– Вот как есть веревочка – скручена, скручена и висит. Ну, так его и уложили с веревочкой-то. Хорошо! Потом этга барин меня к нему и приставил. «Смотри, – говорит, – Антипка, коли что ему, деиньке-то, понадобится, ты справлять будешь, потому человек он старый и больной». Вот это я и смотрю. И, как он забудется ли, заснет ли, потом очнется – сичас, братец мой, за грудь рукой – тут ли у него этга веревочка. Так он ее стерег. Только сегодня сию я у него, а он мычит. Подошел я к нему, чтобы разобрать, чего мычит-то он – не водицы ли испить. «Нет, – говорит, – барина», – то есть голосом понимать дает, чтобы я барина к нему призвал. Я этга сичас к Петру Иванычу, вот, мол, так и так, барина к себе зовет... Ну, вот Петр Иваныч и докладает барину-то, что зовет, мол, его этот самый старый нищий-солдат, к которому Антипка приставлен. Барин в это время уже спать ложились. Как есть в туфлях, и они идут по коридору-то, а я двери-то раскрыл им навстречу – пожалуйста, мол. Вот, братец ты мой, входит этга барин к старику, а он так этга глаза открыл и смотрит. И так этга вдруг явственно произносит, что очень, мол, благодарен он барину за всю его доброту. И насчет свечи осведомился... Это чтоб ему зажечь в руку, когда, значит, отходить станет. А барин и говорит, что вот, мол, меня за свечой посылал, и на меня показывает. А он-то снова этга как будто благодарит и говорит,

чтобы уснуть. Барин этак махнул мне рукой, чтобы я, то есть, вышел. Я вышел сейчас, запер дверь и сейчас к скважине замочной глазом припал. Ну, и вижу я, что стоит барин, наклонившись над ним, а он барину и говорит все, так это убедительно говорит и руками не машет, а барин слушает. Только, что он говорит, мне-то никак уж не слышать за дверью-то. Вижу, что говорит, а что именно – дознаться не могу. Хорошо! Вот как он все этга рассказал барину, вижу, барин этга качнулся к нему ближе, да и снимает с шеи-то веревочку эту самую, которую он берег так. Снял этга, а тот ничего; отодвинулся барин, я все лицо старика вижу, и вижу, что ничего – улыбается только, а лицо таково светлое. Ну, после того барин повернулся, я этга и думаю, что сейчас он к двери пойдет, ну, и прочь значит, чтоб не заметили. Ушел я этга, а потом камардин Петр Иваныч говорит выездному Федьке: «Вот какие дела, Федька: был барин у этого самого нищего, которого привез с собой из-под заставы, и вышел от него, братец ты мой, и вынес веревочку, скручену, и так это бережно к себе в бюро запер, а потом на молитву стал, ко сну, значит, отходить».

– Вот они, дела-то! – вздохнул кто-то, когда кончился рассказ Антипки.

– Я так полагаю, что ему помереть сегодня.

– Беспременно помереть. Потому всяк человек свой смертный час чувствует...

Молодая девка, следившая, затаив дыхание, за рассказом с широко открытыми глазами, вдруг проговорила:

– Ой, батюшки мои, страшно!

– Чего страшно-то, дурья голова?

– А вот как старик-то помрет...

– Ну и помрет – все помирать будем.

– А и лодырь – ты, Антипка! – вдруг совершенно неожиданно для вполне довольного собой Антипки, но весьма последовательно со своей точки зрения, проговорил старый кучер, пользовавшийся во всей дворне авторитетом.

В слишком большом внимании, выказанном всем обществом к рассказу Антипки, он видел несоответствие с возрастом и вообще положением казачка.

Антипка сейчас же понял это, но все-таки счел долгом возразить.

– Чего же браниться-то, дядя Иван?

– А то браниться, что не подглядывай, к замочным скважинам носа не суй. За это вашего брата за вихры таскают. Вот как! – и кучер, тряхнув головою, встал и оправился, собираясь уходить.

В ту же ночь в большой комнате, на чистой постели, с зажженной свечой в сложенных на животе руках, скончался хромой нищий.

Он разбудил спавшего у него Антипку, тот зажег ему свечу, подал и побежал с испуга будить старших. Когда те пришли, старик уже умер.

Глава четвертая. Первые шаги

I

Князь Иван велел привести наемную карету, надел свой лучший, выписанный ему еще отцом из Парижа, бархатный кафтан, легкую французскую шпагу, шелковые чулки и башмаки с пряжками, и в таком наряде, не уступавшем самому щегольски одетому богачу, отправился в условленный час к французскому послу.

Как только его карета остановилась у подъезда дома посла и князь, выйдя из нее, назвал свое имя высыпавшим ему навстречу слугам, его тотчас же провели вниз, в рабочий кабинет маркиза Шетарди, видимо, ожидавшего его.

Шетарди встретил его и принял с тою любезностью и приемами чисто светского, выросшего на паркете человека, которого князь Иван видел и любил с детства в своем отце. Да и вообще манеры Шетарди и его разговор сильно напомнили князю его отца, и он сразу почувствовал удивительную симпатию к приветливому, учтивому и воспитанному маркизу.

Впечатление было, кажется, обоюдно хорошее; по крайней мере Косой видел, что и сам он понравился. Шетарди усадил его и сейчас же приступил к делу.

– Вы, вероятно, очень удивились, что я побеспокоил вас? – спросил он, весело глядя на князя Ивана.

Князь Иван ответил, что вообще должно было ответить в этом случае, что, напротив, беспокойства никакого нет и он очень рад.

Шетарди прислушивался к его ответу, не следя за его смыслом, в котором был, очевидно, уверен, но, видимо, с удовольствием следя за прекрасным оборотом французского языка, которым изъяснялся князь Иван.

– Ну да, ну да... – повторил он, – разумеется, но все-таки вы не должны удивляться. Во-первых, мне были сообщены подробные о вас сведения вашим камердинером, которого вы привезли сюда и которого я взял к себе пока, как компатриота. Но главное – вчера заехал ко мне прямо от вас доктор Лесток, узнавший из случайного разговора с вами ваш образ мыслей, вполне соответствующий истинно порядочному русскому сердцу.

«Вот оно что!» – сообразил князь Иван.

Маркиз приостановился, слегка нагнув голову, как бы выжидая, не скажет ли что-нибудь Косой, но князь Иван, подобрав под стул ноги и прижав шляпу под мышкой, продолжал почтительно слушать.

– Итак, – заговорил опять Шетарди, переложив на место гусиное перышко на письменном столе, – молодой человек, приехавший сюда, в Петербург, искать счастья и устроить свою судьбу, но никого, решительно никого здесь не имеющий...

– Решительно никого. Мой отец... – начал было князь Иван.

– Знаю, знаю! – подхватил Шетарди. – Ваш батюшка провел большую часть жизни в Париже, а потом в деревне, так что не оставил вам никаких связей. Вы не имеете никого знакомых в Петербурге, никто не знает вас здесь?

– Никто не знает, – повторил князь Иван.

– Ну и отлично! Это – именно то, что нам надо. Насколько мне известно, вы так определенно выразили в разговоре с господином Лестоком, лейб-медиком великой княжны Елисаветы, ваш взгляд на современное положение вещей...

– Какой же тут может быть взгляд? – улыбнулся князь Иван. – Каждый русский, я полагаю, не может иначе думать... И по праву, и по правде великая княжна должна занимать престол своего отца.

– Вот именно и по праву, и по правде, – повторил Шетарди и задумался. Он знал, что не ошибается в князе Косом. Ему уже приходилось встречать таких людей, молодых, увлекающихся, и он знал, что, если направить как следует этих людей, они-то и будут самыми лучшими помощниками. – Так хотите послужить великой княжне? – вдруг, подняв голову, проговорил он.

Князь Иван еще вчера, когда явился к нему Дрю с приглашением, уже смутно подозревал, зачем зовут его к Шетарди, а сегодня с первых же слов посланника понял, в чем дело, и ждал от него этого вопроса. Ответ у него был готов: конечно, он не только хочет послужить великой княжне, но готов, если это нужно будет, и жизнь свою положить за нее.

Сказал он это так правдиво, искренно, что если бы Шетарди раньше и сомневался в нем, то теперь, при виде его блестящих глаз и вспыхнувших щек, должен был бы вполне убедиться, что может довериться ему.

– Отлично! – сказал он. – Если вы готовы послужить великой княжне, то можете принести существенную пользу. Вот в чем дело: вы знаете, что она окружена со всех сторон шпионами и соглядатаями нынешнего правительства?

– Неужели? – вырвалось у князя Ивана.

– Да. Еще при покойной государыне каждый ее шаг был известен при дворе, а теперь наблюдение за ней удвоили, утроили, она не может выйти из дома просто, и частые посещения ее дома лицами, симпатизирующими ей, с каждым разом становятся все опаснее и опаснее. Для сношения с гвардией у ней есть особый двор – в стороне Преображенских казарм – Смольный, на берегу Невы, в лесу; туда цесаревна уезжает иногда на ночь и видится со своими приверженцами из гвардии. Но вот, видите ли, есть, конечно, люди, готовые помочь ей и помимо гвардии...

Очевидно, Шетарди говорил о себе. Князю Ивану неясно было до сих пор в этом разговоре одно: почему это вдруг французский посол, человек, все-таки чуждый всему собственно русскому, принимает такое близкое участие в деле русской великой княжны?

– Вы, конечно, считаете себя в числе этих людей? – спросил он, боясь говорить прямо.

– Да, потому что Франция всегда готова стоять за право и правду, – ответил Шетарди, как бы угадывая смысл вопроса Косого.

Он ответил фразой, потому что, во-первых, как истый француз, не мог отказать себе в этом удовольствии, а во-вторых, он только и мог ответить фразой, потому что нельзя же было ему объяснять всю подноготную своей политики молодому человеку, русскому, совершенно равнодушному к интересам этой политики с точки зрения Франции.

Однако князю Ивану, самому готовому постоять за правое дело, эта фраза показалась вполне правдоподобною. Рыцарское бескорыстие, которым дышала она, совершенно соответствовало и приемам, и манере, и той утонченной воспитанности, которая проглядывала в каждом малейшем движении Шетарди.

– Что же надо делать? – спросил князь Иван.

Шетарди поднял брови и заговорил размереннее.

– Прежде всего нужно действовать крайне осмотрительно и осторожно. Задача состоит в том, чтобы поддержать сношения французского посольства с дворцом великой княжны. Мне самому часто показываться там, не компрометируя себя, нельзя. Вот потому нам и необходимо иметь ловкого и вполне толкового человека, на которого можно было бы положиться и который, если можно, ежедневно, незаметно служил бы связью между нами. Как с моей стороны, так и со стороны дворца будет сделано все возможное, чтобы облегчить эту задачу. Ну вот вам, мне кажется, удобнее, чем кому-нибудь, выполнить это, потому что вас здесь никто не знает и руки у вас развязаны. Вы можете придумать, что хотите. Сообразите, постарайтесь и дайте мне знать сами ли, или через Дрю, которого я пришлю к вам. Во дворце на первый раз обратитесь к Лестоку. Вот и все. Согласны?

Князь Иван подумал немного и быстро ответил:

– Согласен.

Он согласился сразу, разумеется, не имея никакого определенного плана, как ему действовать; но этого и не нужно было – он знал, что все это возможно было устроить, и он устроит; согласился же он главным образом потому, что сделанное ему предложение захватило его, задело за живое. Тут нужны были и ловкость, и смелость, был риск, и притом риск за хорошее, честное, и это сразу увлекло князя.

II

Князь Косой ехал от Шетарди в лучшем расположении духа, чувствуя невольное удовольствие и от своего богатого наряда, и от разговора с воспитанным, приятным человеком, и – главное – оттого, что ему предстояла деятельность, щекочущая его самолюбие, недаром Шетарди сказал, что «им нужен ловкий и вполне толковый человек».

Он условился с Левушкой, что от посла заедет за ним, чтобы, не выходя из кареты, прямо вызвать Торусского и ехать вместе с Соголевым.

Теперь князю Ивану не хотелось так, сразу, вернуться от своего праздничного настроения к обыкновенному будничному, сиять свой расшитый кафтан и заняться обдумыванием предстоящего ему дела. Ему хотелось еще куда-нибудь поехать в своей карете и в богатом наряде, хотя едва ли это было благоразумно ввиду того инкогнито, которое ему было полезно сохранять теперь.

Но так как ему хотелось именно этого, то у него сейчас же нашелся и предлог, в силу которого оказалось необходимым ехать сейчас же и как можно скорее к Соголевым. Ведь они знают, что он здесь, в Петербурге, – значит, нужно повидать их и уверить, что он уезжает, чтобы его больше не ждали там и по возможности забыли.

Левушка, ожидавший князя Ивана, не заставил его долго сидеть в карете и, выбежав и вскочив к нему, первым делом осведомился:

– Ну что?

– Ничего, – ответил князь Иван, – потом расскажу...

Он еще не вполне сообразил, что можно сказать Левушке и чего нельзя.

Тот не настаивал и начал рассказывать о том, что решил похоронить старика-нищего на свой счет и послал уже выбрать место на кладбище и заказать гроб.

Наемные лошади кареты везли довольно быстро.

Соголевы жили в новой, недавно отстроенной после пожара, части Петербурга, между Царицыным лугом и Невской перспективой, где дома и квартиры в них были дешевле.

Кучер вез князя Ивана с Торусским через Греческую, знакомую уже Косому, улицу, на конце которой стоял дом великой княжны Елисаветы, имевший теперь для князя Ивана вдвойне важное значение. Может быть, завтра же ему удастся пробраться туда, и, может быть, завтра же он будет говорить с самой великой княжной и скажет ей, что готов все, все сделать, что только она пожелает.

И князь Иван нагнулся к окну кареты, чтобы взглянуть на этот полный для него значения, знаменательный дом.

Он нагнулся и вдруг быстро отстранился назад, потом снова заглянул. Ему показалось... нет, не показалось, а он ясно увидел старческую фигуру с седыми, падавшими из-под картуза прядями волос. Старик стоял в своем поношенном, дырявом мундире, опираясь на костыльную трость. Одна нога у него была на деревяшке.

Князь Иван схватил Левушку за руку.

– Сто с вами? – вздрогнул тот, видимо, не ожидая, что его разбудят так вдруг от его мыслей, которые он, устав рассказывать о старике, наладил на что-то очень хорошее, что не чуждо было воспоминанию о Соне Соголевой.

– Смотрите, вон, видите? – показал Косой, пригибая Левушку к окну.

– Где, сто, а? – спросил Левушка, так как смотрел совсем не туда, куда было надо.

– Да вот же, – показал князь Иван, но в это время карета повернула за угол, и старик скрылся из глаз.

– Сто вы говорите? Сталика-нищего видели? – сказал Левушка, когда князь объяснил, на что показывал ему.

– Да, того самого старика... И волосы такие же, и нога на деревяшке... Он стоял прямо против дома великой княжны... Я видел совсем ясно...

– Ну сто ж? – успокоился Левушка – Мало ли сталиков-нищих ходит?.. Из отставных солдат их много, и волосы у них седые, и ноги на деревяшках. Очень может быть...

Спокойствие Левушки как-то сразу охладило князя.

И в самом деле ничего не было удивительного, что он увидел нищего, похожего на того, который умер сегодня ночью у них в доме. Его не то что испугали, а поразили сначала неожиданность и близкое сходство, вот и все. Но теперь, когда первое впечатление прошло, князь, конечно, увидел, что это был вздор.

– Плосто, я вам только сто говолил о насем сталике, вот вам и показалось, – соображал в это время вслух Левушка. – А нищих очень много у нас. Плежде было еще больше, а с тех пол, как заплелили...

Но князь Иван не слушал уже соображений Левушки. Ему вдруг пришла в голову мысль и всецело заняла его.

В самом деле, в Петербурге много таких нищих, каким был этот умерший старик. Нищие, очевидно, могут проходить во двор великой княжны, чтобы получить там подавание. А ведь главное, чтобы, не подав подозрения, проникнуть во двор, а уж там проведут, куда надо, там все равно. Так чего лучше, как не под видом старика-нищего проходить к великой княжне хоть каждый день? И полное одеяние есть – осталось от мертвого, и деревяшка, и палка...

И вдруг странное, жуткое чувство охватило князя Ивана: ему на один миг показалось, что будто это все где-то и когда-то было. Он вот так же ехал с Левушкой на лошадях и переодевался в хромого старика.

«Что за вздор! – сделал над собой усилие князь Иван. – Дело вовсе не в этом... Да, так и нужно будет распорядиться. Нужно велеть только выпарить одежду старика и новую подкладку поставить: а там, для Шетарди, чтобы никакого уже не было подозрения, можно роль француза разыгрывать. Говорю я хорошо, никто не узнает, что я – русский, хоть магазин иностранных товаров открывай. А в самом деле не открыть ли французский магазин и жить под видом хозяина-иностранца, а когда нужно, то нищий пойдет к великой княжне. Странно, этот нищий умер, а будет жить!»...

– Как это говорят французы – король умер, да здравствует король! – проговорил Косой вслух вновь задумавшемуся Левушке.

– Как вы говорите? – снова оглянулся тот. – Да здравствует кололь? Нет, да здравствует кололева!

– Да вы про кого?..

– Плю Сонечку Соголеву – она лучше всякой кололевы... Наплаво во двол, к клыльцу! – высунулся Левушка из кареты, показывая кучеру подъезд Соголевых.

Они приехали.

– Вот что, Торусский, – сказал князь Иван Левушке, выходя из кареты, – вы не проговоритесь как-нибудь, что я был сегодня у французского посла. Слышите?..

– Холосо! – согласился Левушка.

III

Князь Иван не ошибся, жалея расстроить свое хорошее, приподнятое настроение вразом к будничной жизни, и хорошо сделал, что, придравшись к придуманному им предлогу, поехал к Соголевым. Этот визит не только не испортил его настроения, но, напротив, еще больше приподнял его.

У Соголевых, живших в сравнительно дешевой наемной квартире, с маленькими комнатами, было, конечно, гораздо беднее, чем в доме французского посла, но дух порядочности и приличия царил в них одинаково во всем и вполне.

Князя Косого с Торусским приняли очень любезно мать и обе дочери. Но только вот что сразу бросилось в глаза князю Ивану: не то что хозяйкою, но, так сказать, центром этой царившей у ней порядочности и изящества была не Вера Андреевна, не младшая ее дочь, но старшая – Соня, которую он единственно помнил, то есть хорошо помнил, так что мог узнать, где бы и когда бы ни встретился.

И оттого ли, что он уже давно не был в обществе светских девушек, или уж его настроение было таково, но он, опустившись в кресло после приветствий у Соголевых, почувствовал себя очень хорошо.

– Вот как! Вы перебрались к нам, в Петербург? Навсегда? Надолго? – обратилась к князю Ивану Соня, улыбнувшись своею особенною улыбкою, казавшеюся, благодаря ее родинке на щеке, немножко вбок, что и составляло самое прелесть.

«Надолго», – хотелось ответить князю Ивану, но он вспомнил, что должен был сказать совершенно обратное, и, потупив глаза, ответил:

– Не знаю; может быть, придется скоро уехать...

Странное дело: ему вдруг, при виде ясных, светлых глаз Сони, как-то совестно стало прямо солгать ей.

– Как? Лазве вы уезжаете? – с неподдельным удивлением спросил Левушка. – Когда же вы лешили?..

– Сегодня утром, – ответил князь Иван, выразительно взглянув на Левушку.

Тот понял и замолчал.

Затем начался общий разговор, в котором принимали участие и сама Соголева, и Дашенька, сидевшая в кресле в стороне, говорившая, правда, мало и больше вскидывавшая глазами, останавливая удивленный взгляд, и Левушка; но все их слова совершенно ступшевывались для князя Ивана пред тем, что говорила и делала Соня.

Она, собственно, не говорила и не делала ничего особенного, сидела на небольшом диванчике спокойно, тихо и так же спокойно и тихо выслушивала до конца то, что ей говорили, и отвечала, не перебивая и не торопясь, изредка освещая, да, именно освещая все кругом себя своею улыбкой. И Косой видел, что как-то выходит так, что он сам говорит только для нее и слушает только ее.

Говорили о вещах, разумеется, интересовавших всех в то время: о неожиданно начатой шведами войне, о персидском посольстве, которое присылает шах в Петербург с подарками и несколькими живыми слонами, об Остермане, о неудобствах и дороговизне жизни в Петербурге.

Князь Иван, как недавно приехавший, не мог сообщить никаких местных новостей и слушал то, что ему сообщали, но зато, когда заговорили о Петербурге, как о городе, он высказал свое впечатление и рассказал о Париже. И этот рассказ доставил ему большое удовольствие, потому что он видел, что Соня слушает с интересом.

Заговорили и о великой княжне Елисавете.

Вера Андреевна вдруг сообщила поразившую всех новость о том, что она знает наверное, что принцесса Елисавета выйдет замуж за французского принца Конти.

Дашенька, точно проснувшись, взглянула на нее и остановилась. Соня обернулась к ней и тихо сказала:

– Ведь принцессу хотели сватать за герцога Люнебургского, брата принца Антона.

– Это – старая история, – перебила Вера Андреевна, – а я вам говорю последнюю и самую верную новость: она выходит замуж за принца Конти.

– Сто ни день, то нового жениха отыскивают принцессе! – сказал Левушка.

Князь Иван при словах Веры Андреевны о французском принце первым долгом подумал, не может ли быть этом известии связи с его разговором у Шетарди, но сейчас же сообразил, что, напротив, этот разговор служил явным опровержением сообщения Веры Андреевны. Предполагавшийся брак Елисаветы Петровны с кем-нибудь из иностранных принцев был построен на расчете лишить ее, как жену иностранного принца, всякой возможности занять когда-нибудь русский престол, устранить ее, так сказать, окончательно; между тем Шетарди действовал, по-видимому, совершенно наоборот. Не мог же он в самом деле одновременно поддерживать Елисавету в России и думать о браке с иностранным, хотя бы даже и французским, принцем!

– Нет, – сказал князь Иван, – Могу вас уверить, что вы ошибаетесь: уж за кого угодно можно выдавать принцессу, но только не за француза. Это я могу вам сказать наверное...

– А я вам говорю, – заговорила Вера Андреевна, – что знаю наверное...

– Да ни за кого она не выйдет, – попробовал вставить Левушка, – она ведь и гелцугу Люнебургскому ответила так...

– Ну а я вам говорю, – настойчиво повторила Вера Андреевна, не желая сдаться, – что она будет за принцем Конти. Хотите знать, откуда я знаю это? Извольте: госпожа Каравак, жена придворного живописца, говорила это на вечере у Творожниковых.

Князь Иван пожал плечами и ничего не мог ответить, потому что Вера Андреевна, желая, чтобы так или иначе последнее слово осталось за нею, вскочила с места и перешла к окну. Вообще она в продолжение получаса, что сидела у них Косой, раз пять вскакивала и опять садилась, шурша и размахивая своими юбками.

В один из этих разов Соня встала, чтобы, кажется, показать князю Ивану с этажерки настоящую саксонскую чашку – один из остатков величия ее бабушки, и князь Иван слышал, как мать, встретившись с ней у стула у окна и поправляя этот стул, сказала ей на ухо по-французски:

– Вечно вы перевернете всю мебель, за вами камердинеров нет...

Соня не шелохнулась и только взглянула на мать, и по этому взгляду, которым обменялись они, в особенности по тому, как взглянула на дочь Вера Андреевна, Косому сразу стали ясны отношения Соголевой к своей старшей дочери. Но он, конечно, и вида не подал, что заметил что-нибудь, и, как ни в чем не бывало, стал рассматривать саксонскую чашку.

После этого они пробыли недолго у Соголевых, но князь Иван, догадавшийся о «секрете» их семейных отношений, уже помимо своей воли следил за Верой Андреевной именно в этом отношении, и в каждом ее слове, взгляде и движении видел подтверждение сделанного им наблюдения.

– Ну сто, не правда ли, холоса? – спросил Левушка у Косого, когда они снова сели в карету, чтобы ехать домой.

Князь ничего не сказал, а только кивнул головою. Ему в эту минуту опять вспомнилась аллея в их деревне и как они шли тогда. Соня нисколько не изменилась с тех пор, лучше стала... и руки такие же, точеные...

– А эта вторая... – сказал князь Иван. – Что она? Совсем не похожа на сестру; китайский божок какой-то...

– Китайский божок!.. – подхватил Левушка со смехом. – Именно китайский божок. Отлично! Это надо лассказать.

IV

Соня, с тех пор как стала жить у матери, так редко испытывала удовольствие, что едва ли даже оставались в ее памяти часы, на которых она могла бы остановиться в воспоминаниях без огорчения, боли и обиды.

Самое лучшее в ее воспоминании были часы, проведенные ею в одиночестве, у себя в комнате. Иногда они проходили в мечтах, уносящих ее далеко в будущее, иногда и они были болезненны, но все-таки оставляли хороший, приятный след на сердце. Сегодня, однако, Соня была безотчетно довольна и собой, и судьбою.

Конечно, она ни за что не призналась бы даже самой себе, даже в тайнике самолюбивой души, что она довольна была приезду к ним князя Косого. Он приехал, он помнил ее. Он недаром послал ей поклон через Торусского. Так, словами, она не думала этого, но чувствовала и знала, что это было, верно, верно по тому, как смотрел на нее, как говорил с нею князь Иван и как он близко наклонялся к ее руке, когда она ему показывала бабушкину чашку.

Когда князь и Торусский уехали, она прошла прямо к себе в комнату и села за пяльцы вышивать золотом по бархату – работа, которою она ограждала себя на целое утро, когда никого не было, от вторжений и налетов матери. Ее шитье потихоньку, под громадным секретом и тайной, продавалось старою няней в магазин, где платили довольно дорого, и выручаемые за это деньги шли на увеличение общего бюджета дома. Поэтому Соня требовала одного только – чтобы ее оставляли во время работы в полном покое.

Денег у них это время было мало, значит – требовалась усиленная работа с ее стороны, но сегодня она не могла работать, как обыкновенно. Она была слишком рассеянна, иголка не слушалась ее.

Она и Косой в своем разговоре ни единым намеком не напомнили друг другу о своих встречах и знакомстве в деревне. Но этого и не нужно было. Соня знала, что она и князь Иван не могут не помнить об этом, хотя в этих встречах и в этом знакомстве не было решительно ничего особенного, и поняла также при первом же взгляде на него, что и он знает это.

Князю очень шел его бархатный кафтан. И держался он хорошо, и говорил, и смеялся, и шутил... Куда только, он сказал, ему нужно ехать? Зачем ему ехать? Тут была какая-то неясность, что-то не так.

«Надо будет это выяснить», – решила Соня и задумалась: а что, как она ошибается, и все это ей только кажется и на самом деле нет ничего, решительно ничего нет? Он и в самом деле уедет и все пройдет...

Соня думала так и улыбалась, потому что, в сущности, не верила в то, что думала.

– А вы ничего не делаете, моя дорогая? – раздался в это время французский говор матери над самым ее ухом.

Вера Андреевна, заглянув к Соне в дверь и увидев, что та забылась над работой с воткнутой наполовину иголкой, вошла и окликнула ее.

Соня подняла голову.

– Вы опять ничего не делаете? – повторила Вера Андреевна.

– Отчего же «опять», маменька? – тихо ответила вопросом Соня.

– Оттого что так работа нисколько не подвинется. Вы почти целые утра ничего не делаете. Одно из двух – или принимать гостей, или работать.

– Но ведь нельзя же было не выйти к ним, ведь это невежливо. Наконец князь Косой познакомился с нами в деревне и был тут в первый раз...

– И очень жаль, что был. Что, он богат?

– Право, не знаю.

– Кажется, его отец все прокутил. И он вовсе не симпатичен, груб ужасно и спорит.

– Чем же он груб, маменька?

– Тем, что спорит. Уж если я говорю что-нибудь, то знаю, о чем говорю. Ясно, кажется, если мадам Каравак говорит...

– Но он ведь и не спорил, а говорил только, так же как и Торусский, как и все...

– Ну, уж позвольте мне лучше знать! Я сразу вижу, что это за господин. Я его больше не велю принимать к себе. Вот и все.

– За что же, маменька?

В до сих пор ровном и тихом голосе Сони послышался не то что признак беспокойства, а чуть заметное внешнее выражение серьезного внутреннего чувства, чуть заметное, но все-таки не ускользнувшее от женского слуха Веры Андреевны.

– Я вам не буду давать отчет в своих поступках, – снова переходя на французский язык, сказала она.

Соня, взглянув на нее, ответила по-русски:

– Как вам будет угодно, маменька.

– Я знаю, что все будет, как мне угодно, – раздражаясь, громче заговорила Вера Андреевна. – Я знаю, что все будет так, как я хочу, а не вы, понимаете... так и запишите это!.. – и, должно быть, чтобы сейчас же на деле доказать, что все «будет так, как она этого хочет», Вера Андреевна наклонилась над пальцами с работой Сони и, взглянув попристальнее, проговорила, обводя пальцем край узора: – Это никуда не годится; криво, совсем криво; нужно распороть и переделать.

– Маменька, – дрогнувшим голосом ответила Соня, – ведь это по крайней мере два дня работы...

– Ну что ж из этого? Хоть бы месяц...

– Но я... – начала было Соня.

– Но я, – снова подхватила Вера Андреевна, – говорю вам, что так оставить нельзя; нужно распороть, распороть и распороть.

– Но я не успею исполнить к сроку, – смогла наконец проговорить Соня, – мне сказали, что нужно непременно к четвергу.

Она не упомянула ничего про «магазин», то есть что в магазине сказали няне, что нужно к четвергу, потому что между ними было обусловлено никогда не говорить про магазин. Они стыдились этого даже друг пред другом.

Вера Андреевна поняла, что обстоятельства сложились вполне в пользу Сони; настаивать ей было нельзя, и потому она заявила:

– У вас вечно найдутся возражения! Делайте, как хотите, но только это ни на что не похоже, криво, косо – черт знает что... и вечные оправдания... Вы – дурная дочь, да, дурная дочь.

– Нет, маменька, я – не дурная дочь, – спокойно ответила Соня. – Вы не знаете, что значит дурная дочь.

Вера Андреевна повернулась, как бы не слушая, и, крепко хлопнув дверью, вышла из комнаты.

V

– Ну, сто ж, ласкайтесь, однако? – спросил Левушка у Косого, когда они остались вечером вдвоем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.